СВЕТЛЯЧОК

3 класс

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

СВЕТЛЯЧОК

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Универсальная хрестоматия составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта нового поколения и может быть использована со всеми основными учебниками по литературному чтению, рекомендованными Министерством образования и науки РФ.

Книга включает в себя произведения устного народного творчества, сказки русских и зарубежных писателей, стихотворения и прозу отечественных классиков. Кроме того, в хрестоматии имеются краткие биографические сведения и интересные факты из жизни любимых детских писателей.

Хрестоматия формирует и закрепляет навыки работы с текстом, способствует улучшению техники чтения, литературному и творческому развитию учащихся. Издание предназначено для подготовки к урокам чтения.

- Универсальная хрестоматия: 3 класс
  - Устное народное творчество
    - Докучные сказки
      - Жили-были два брата
      - Жил-был старичок
      - Пришёл медведь к броду
      - Мы с тобой шли?
    - Русские народные песни
      - «Жаворонки, жавороночки…»
      - «Солнышко, покажись…»
      - «Из-за лесу, лесу тёмного…»
      - «Как на тоненький ледок…»
    - Русские народные сказки
      - Кому горшок мыть
      - Как мужик гусей делил
      - Дочь-семилетка
      - Баба-Яга
      - Подземные царства
    - Былины
      - Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча
      - Илья Муромец и Соловей-разбойник
      - Алёша Попович и Тугарин Змеевич
      - Илья Муромец и Калин-царь
  - Русская литература XIX века
    - Проза
      - Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

- (1852–1906)
  -
  - Тёма и Жучка
- Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912)
  -
  - Серая Шейка
- Владимир Фёдорович Одоевский (1803–1869)
  -
  - Мороз Иванович
- Лев Николаевич Толстой (1828–1910)
  -
  - Белка и волк (Басня)
  - Комар и лев (Басня)
  - Какая бывает роса на траве
  - Как вор сам себя выдал
  - Два брата (Сказка)
- Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870)
  -
  - Как рубашка в поле выросла
  - На поле летом
- Антон Павлович Чехов (1860–1904)
  -
  - Ванька

- Поэзия
  - Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)
    -
    - Мальчик с пальчик
  - Иван Андреевич Крылов (1769–1844)
    -
    - Чиж и голубь
    - Кукушка и Петух
    - Волк и журавль
    - Квартет
    - Лиса и Виноград
    - Волк и ягнёнок
  - Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)
    -
    - Осень
    - «На севере диком стоит одиноко…»
    - Тучи

- Аполлон Николаевич Майков (1821–1897)
  -
  - Осень
- Николай Алексеевич Некрасов (1821–1877)
  -
  - «Славная осень! Здоровый, ядрёный…» (отрывок из стихотворения «Железная дорога»)
  - Мужичок с ноготок (отрывок из стихотворения «Крестьянские дети»)
  - «Зелёный шум…» (в сокращении)
- Иван Саввич Никитин (1824–1861)
  -
  - «Весело сияет…» (отрывок из стихотворения «Зимняя ночь в деревне»)
  - «Тихо ночь ложится…»
- Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893)
  -
  - Весна
  - На берегу
- Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)
  -
  - «…Унылая пора! Очей очарованье…» (отрывок из романа «Евгений Онегин»)
  - Зимний вечер
  - «Если жизнь тебя обманет…»
  - Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
- Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873)
  -
  - Листья
  - Весенняя гроза
  - Первый лист
  - «Есть в осени первоначальной…»
  - «Неохотно и несмело…»
- Афанасий Афанасиевич Фет (1820–1892)
  -
  - Рыбка
  - «Облаком волнистым…»
  - «Зреет рожь над жаркой нивой…»
  - Весенний дождь

○ Русская литература XX века

- Проза
  - Аркадий Петрович Гайдар (1904–1941)
    -
    - Горячий камень
  - Максим Горький (1868–1936)
    -
    - Случай с Евсейкой
    - Детство (отрывок)
  - Виктор Юзефович Драгунский (1913–1972)
    -
    - Кот в сапогах
    - Он живой и светится
    - Девочка на шаре
  - Борис Степанович Житков (1882–1938)
    -
    - Галка
  - Л. Пантелеев (1908–1987)
    -
    - Честное слово
    - Камилл и учитель
  - Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968)
    -
    - Барсучий нос
    - Растрёпанный воробей
    - Корзина с еловыми шишками (в сокращении)
  - Евгений Андреевич Пермяк (1902–1982)
    -
    - Некрасивая Ёлка
    - Мама и мы
    - Хитрый коврик
  - Андрей Платонович Платонов (1899–1951)
    -
    - Ещё мама
  - Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954)
    -
    - Дятел
    - Моя Родина
    - Жулька и кот
    - Выскочка
  - Лидия Алексеевна Чарская (1875–1937)
    -

- Живая перчатка
- Евгений Львович Шварц (1896–1958)
  -
  - Сказка о потерянном времени
- Поэзия
  - Константин Дмитриевич Балмонт (1867–1942)
    -
    - Золотое слово
    - Фея и снежинки
    - Гномы
    - Колыбельная песня
    - Снежинка
  - Александр Александрович Блок (1880–1921)
    -
    - Вербочки
    - «Гроза прошла, и ветка белых роз…»
    - Учитель
  - Сергей Александрович Есенин (1895–1925)
    -
    - «Я покинул родимый дом…»
    - Бабушкины сказки
    - «Отговорила роща золотая…»
  - Игорь Северянин (1887–1941)
    -
    - Отчего?
  - Её питомцы
    -
    - «Кружевеет, розовеет утром лес…»
  - Саша Чёрный (1880–1932)
    -
    - На коньках
    - Слон
    - «Ну-ка, дети…»

○ Зарубежная литература

- Сказки
  - Два брата (Латышская сказка)
  - Златовласка (Чешская сказка)
  - Черепаха и скорпион (Узбекская сказка)
- Ганс Христиан Андерсон (1805–1875)
  -
  - Ель
- Джозеф Редьярд Киплинг (1865–1936)

- Отчего у верблюда горб
- Мифы Древней Греции
  - Олимп
  - Царство мрачного Аида

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

Универсальная хрестоматия: 3 класс

Устное народное творчество

Докучные сказки

Жили-были два брата

Жили-были два брата, два братца – кулик да журавль. Накосили они стожок сенца, поставили среди польца. Не сказать ли сказку опять с конца?

Жил-был старичок

– Жил-был старичок. Поехал на мельницу намолоть муки…
– Ну вот, поманил, а не рассказываешь!
– Кабы доехал, рассказал, а он, может, неделю проедет!

Пришёл медведь к броду

Пришёл медведь к броду,
Бултых в воду!
Уж он мок, мок, мок,
Уж он кис, кис, кис,
Вымок, выкис, вылез, высох.
Встал на колоду —

Бултых в воду!
Уж он мок, мок, мок…

Мы с тобой шли?

– Мы с тобой шли?
– Шли!
– Сапог нашли?
– Нашли!
– Я тебе его дал?
– Дал!
– Ты его взял?
– Взял!
– А где же он?
– Кто?
– Да не кто, а что!
– Что?
– Сапог!

– Какой?
– Ну такой! Мы с тобой шли?
– Шли!
– Сапог нашли?
– Нашли…

Русские народные песни

«Жаворонки, жавороночки…»

Жаворонки, жавороночки,
Прилетите к нам.
Принесите нам лето тёплое,
Унесите от нас зиму холодную
Нам холодная зима наскучила,
Руки, ноги отморозила.

«Солнышко, покажись…»

Солнышко, покажись,
Красное, снарядись!
Чтобы год от года
Давала нам погода
Тёплое летечко,
Грибы в берестечко,
Ягоды в лукошко,
Зелёного горошка.

«Из-за лесу, лесу тёмного…»

Из-за лесу, лесу тёмного,
Из-за гор ли, гор высоких,
Летит стадо лебединое,
А другое – гусиное.
Отставала лебёдушка
Что от стада лебединого,
Приставала лебёдушка
Как ко стаду ко серым гусям.
Начали её гуси щипати,
А лебёдушка кликати:
– Не щиплите, гуси серые,
Не сама я к вам залетела,
Занесло меня погодою,
Что великою невзгодою.

«Как на тоненький ледок…»

Как на тоненький ледок
Выпал беленький снежок.
Выпал беленький снежок.
Ехал Ванюшка-дружок.
Ваня ехал, поспешал,
Со добра коня упал.
Он упал, упал, лежит —
Никто к Ване не бежит
Две девушки увидали,
Прямо к Ване подбежали,
Прямо к Ване подбежали,
На коня Ваню сажали.
На коня Ваню сажали,
Путь-дорогу показали.
Путь-дорогу показали
Да наказывали:
«Как поедешь ты, Иван,
Не зевай по сторонам!»

Русские народные сказки

Кому горшок мыть

Муж с женой были такие ленивые, что и сказать нельзя: дверь с вечера в сенях не запирали на засов.

– Вечером запирай, а утром открывай – одна морока! – говаривали они.

Как-то раз сварила жена кашу, сдобрила маслом. Кашу съели, и говорит хозяйка:

– Я кашу варила, а тебе, мужик, горшок мыть!

– Полно глупости болтать, – отвечает муж, – мужское ли дело горшки мыть. Вымоешь сама.

– И не подумаю, – сказала жена.

– И я не стану, – супротивится мужик.

– А не станешь – так пусть горшок хоть век немытый стоит!

Простоял горшок немытый до вечера. Снова говорит мужик:

– Баба, а баба! Надо бы горшок-то вымыть.

Взвилась жена вихрем:

– Сказала – твоё дело, вот ты и мой!

– Ну вот что! Пусть будет не по-твоему, не по-моему. Уговоримся так: кто завтра первое слово скажет – тому и горшок мыть.

– Ладно, ложись спать – утро вечера мудренее.

Легли спать. Баба на лавке, мужик на печи.

Поутру ни тот, ни другой не встают, лежат каждый на своём месте, не шевелятся, молчат.

Соседи давно коров подоили, и пастух угнал стадо. Соседки толкуют меж собой:

– Чего это Маланья нынче припозднилась? Корову не выгоняла. Уж не приключилось ли чего у них? Надо бы проведать!

Покуда так судили-рядили, одна соседка шасть к ним. Стукнула в окошко раз, другой, никто не отзывается. Она на двор да в избу, благо дверь не заперта на засов.

Вошла и видит: хозяйка лежит на лавке.

– Чего лежишь-то?

А Маланья лежит, глазами по избе шарит, а не шевелится и ответу не подаёт…

Глянула соседка на печь, а там хозяин лежит, глаза открыты, а ни рукой, ни ногой не шевелит и молчит.

Всполошилась соседка:

– Да что это у вас тут деется?!

Кинулась прочь из избы, а на улице заголосила:

– Ой, тошненько! Ой, люди добрые! Да что это творится-то тут!

И принялась рассказывать соседкам:

– Одна на лавке, а другой на печи лежат, зенками[1] ворочают, а сами не шевелятся и голосу не подают!

Сбежались бабы в Маланьину избу. Глядят то на Маланью, то на хозяина:

– Что с вами? Может, за фершалом аль за попом послать?

Молчат хозяева, будто воды в рот набрали, глядят во все глаза, а не шевелятся и голосу не подают.

Поговорили, посудачили между собой соседки, да не век толочься в чужой избе, у каждой свои дела. Стали расходиться. А одна и промолвила:

– Бабоньки! Негоже их одних-то оставлять. Надо кому-нибудь побыть с ними, покараулить, пока десятский да фершал не придут. Видно, уж не жильцы они, бедные, на этом свете!

Проговорила так, а бабы все к двери да прочь из избы.

– Ой, у меня тесто из квашни уйдёт! – кричит одна.

– А у меня дети малые ещё не кормлены! – спохватилась другая.

– А меня хоть озолотите, не останусь одна с ними – боязно одной-то, бабоньки!

– Ну ладно: уж коли так, делать нечего, посижу с ними я, – проговорила кривая бобылка. – Люди они были хорошие, хоть и ленивые. Ступайте да поторопите десятского. А мне за то хоть вот Маланьин кафтанишко не пожалейте, бабы, отдать. Ей всё одно уже не нашивать…

– А ты не зарься на чужое добро! – вскричала Маланья и вскочила с лавки. – Не тобой справлено, не тебе и носить мой кафтан!

В ту же минуту муж тихонько ноги с печи спустил и говорит:

– Ну, Маланья, ты первая заговорила, тебе и горшок мыть!

Соседки остолбенели, а опомнившись, плюнули да и вон из избы.

Как мужик гусей делил

У одного бедного мужика не стало хлеба. Вот он и задумал попросить хлеба у барина. Чтобы было с чем идти к барину, он поймал гуся, изжарил его и понёс. Барин принял гуся и говорит мужику:

– Спасибо, мужик, тебе за гуся; только не знаю, как мы твоего гуся делить будем. Вот у меня жена, два сына да две дочери. Как

бы нам разделить гуся без обиды?

Мужик говорит:

– Я разделю.

Взял ножик, отрезал голову и говорит барину:

– Ты всему дому голова – тебе голова.

Потом отрезал задок, подаёт барыне.

– Тебе, – говорит, – дома сидеть, за домом смотреть – тебе задок.

Потом отрезал лапки и подаёт сыновьям.

– Вам, – говорит, – ножки – топтать отцовские дорожки.

А дочерям крылья.

– Вы, – говорит, – скоро из дома улетите, вот вам по крылышку. А остаточки себе возьму!

И взял всего гуся.

Барин посмеялся, дал мужику хлеба и денег.

Услыхал богатый мужик, что барин за гуся наградил бедного мужика хлебом и деньгами, зажарил пять гусей и понёс к барину.

Барин говорит:

– Спасибо за гусей. Да вот у меня жена, два сына, две дочки – всех шестеро. Как бы нам поровну разделить твоих гусей?

Стал богатый мужик думать и ничего не придумал. Послал барин за бедным мужиком и велел делить. Бедный мужик взял одного гуся, дал барину с барыней и говорит:

– Вот вас трое с гусём.

Одного дал сыновьям.

– И вас, – говорит, – трое.

Одного дал дочерям:

– И вас трое.

А себе взял двух гусей.

– Вот, – говорит, – и нас трое с гусями, – всё поровну.

Барин посмеялся и дал бедному мужику ещё денег и хлеба, а богатого прогнал.

Дочь-семилетка

Ехали два брата: один бедный, другой богатый. У обоих по лошади – у бедного кобыла, у богатого мерин. Остановились они на ночлег рядом. У бедного кобыла принесла ночью жеребёнка; жеребёнок подкатился под телегу богатого. Будит он наутро бедного:

– Вставай, брат! У меня телега ночью жеребёнка родила.

Брат встаёт и говорит:

– Как можно, чтоб телега жеребёнка родила? Это моя кобыла принесла.

Богатый говорит:

– Кабы твоя кобыла принесла, жеребёнок бы подле был!

Поспорили они и пошли до начальства. Богатый дарил судей деньгами, а бедный словами оправдывался.

Дошло дело до самого царя. Велел он призвать обоих братьев и загадал им четыре загадки:

– Что всего на свете сильнее и быстрее? Что всего на свете жирнее? Что всего мягче? И что всего милее?

И положил им сроку три дня:

– На четвёртый приходите, ответ дайте!

Богатый подумал-подумал, вспомнил про свою куму и пошёл к ней совета просить.

Она посадила его за стол, стала угощать, а сама спрашивает:

– Что так печален, куманёк?

– Да загадал мне государь четыре загадки, а сроку всего три дня положил.

– Что такое, скажи мне.

– А вот что, кума! Первая загадка: что всего в свете сильнее и быстрее?

– Экая загадка! У моего мужа карая кобыла есть; нет её быстрее! Коли кнутом приударишь, зайца догонит.

– Вторая загадка: что всего на свете жирнее?

– У нас другой год рябой боров кормится; такой жирный стал, что на ноги не поднимается!

– Третья загадка: что всего в свете мягче?

– Известное дело – пуховик, уж мягче не выдумаешь!

– Четвёртая загадка: что всего на свете милее?

– Милее всего внучек Иванушка!

– Ну, спасибо тебе, кума! Научила уму-разуму, по век тебя не забуду.

А бедный брат залился горькими слезами и пошёл домой. Встречает его дочь-семилетка:

– О чём ты, батюшка, вздыхаешь да слёзы ронишь?

– Как же мне не вздыхать, как слёз не ронить? Задал мне царь четыре загадки, которые мне и в жизнь не разгадать.

– Скажи мне, какие загадки.

– А вот какие, дочка: что всего на свете сильнее и быстрее, что всего жирнее, что всего мягче и что всего милее?

– Ступай, батюшка, и скажи царю: сильнее и быстрее всего ветер, жирнее всего земля: что ни растёт, что ни живёт, земля питает! Мягче всего рука: на что человек ни ляжет, а всё руку под голову кладёт; а милее сна нет ничего на свете!

Пришли к царю оба брата – и богатый и бедный. Выслушал их царь и спрашивает бедного:

– Сам ли ты дошёл или кто тебя научил?

Отвечает бедный:

– Ваше царское величество! Есть у меня дочь-семилетка, она меня научила.

– Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шёлкова; пусть к утру соткёт мне полотенце узорчатое.

Мужик взял шёлковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный.

– Беда наша! – говорит дочери. – Царь приказал из этой ниточки соткать полотенце.

– Не кручинься, батюшка! – отвечала семилетка, отломила прутик от веника, подаёт отцу и наказывает: – Поди к царю, скажи, чтоб нашёл такого мастера, который бы сделал из этого прутика кросна[2]: было бы на чём полотенце ткать!

Мужик доложил про то царю. Царь даёт ему полтораста яиц.

– Отдай, – говорит, – своей дочери; пусть к завтрему выведет мне полтораста цыплят.

Воротился мужик домой ещё кручиннее, ещё печальнее:

– Ах, дочка! От одной беды увернёшься – другая навяжется!

– Не кручинься, батюшка! – отвечала семилетка.

Попекла яйца и припрятала к обеду да к ужину, а отца посылает к царю:

– Скажи ему, что цыплятам на корм нужно однодённое пшено: в один бы день было поле вспахано, просо засеяно, сжато и обмолочено. Другого пшена наши цыплята и клевать не станут.

Царь выслушал и говорит:

– Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко мне явится ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка.

«Ну, – думает мужик, – такой хитрой задачи и дочь не разрешит; пришло совсем пропадать!»

– Не кручинься, батюшка! – сказала ему дочь-семилетка. – Ступай-ка к охотникам да купи мне живого зайца да живую перепёлку.

Отец пошёл и купил ей зайца и перепёлку.

На другой день поутру сбросила семилетка всю одежду, надела на себя сетку, в руки взяла перепёлку, села верхом на зайца и поехала во дворец.

Царь её у ворот встречает. Поклонилась она царю.

– Вот тебе, государь, подарочек! – и подаёт ему перепёлку.

Царь протянул было руку, перепёлка – порх – и улетела!

– Хорошо, – говорит царь, – как приказал, так и сделано. Скажи теперь: ведь твой отец беден, чем вы кормитесь?

– Отец мой на сухом берегу рыбу ловит, ловушек в воду не

ставит, а я подолом рыбу ношу да уху варю.

– Что ты, глупая, когда рыба на сухом берегу живёт? Рыба в воде плавает!

– А ты умён? Когда видано, чтобы телега жеребёнка принесла?

Царь присудил отдать жеребёнка бедному мужику, а дочь его взял к себе. Когда семилетка выросла, он женился на ней, и стала она царицею.

Баба-Яга

Жили себе дед да баба; дед овдовел и женился на другой жене, а от первой жены осталась у него девочка. Злая мачеха её не полюбила, била её и думала, как бы вовсе извести. Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке: «Поди к своей тётке, моей сестре, попроси у неё иголочку и ниточку – тебе рубашку сшить». А тётка эта была Баба-яга костяная нога.

Вот девочка не была глупа да зашла прежде к своей родной тётке. «Здравствуй, тётушка!» – «Здравствуй, родимая! Зачем пришла?» – «Матушка послала к своей сестре попросить иголочку и ниточку – мне рубашку сшить». Та её и научает: «Там тебя, племянушка, будет берёзка в глаза стегать – ты её ленточкой перевяжи; там тебе ворота будут скрипеть и хлопать – ты подлей им под пяточки маслица; там тебя собаки будут рвать – ты им хлебца брось; там тебе кот будет глаза драть – ты ему ветчины дай». Пошла девочка; вот идёт, идёт и пришла.

Стоит хатка, а в ней сидит Баба-яга костяная нога и ткёт. «Здравствуй, тётушка!» – «Здравствуй, родимая!» – «Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку – мне рубашку сшить». – «Хорошо; садись покуда ткать». Вот девочка села за кросна, а Баба-яга вышла и говорит своей работнице: «Ступай, истопи баню да вымой племянницу, да смотри, хорошенько; я хочу ею позавтракать». Девочка сидит ни жива ни мертва, вся перепуганная, и просит она работницу: «Родимая моя! Ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, решетом воду носи», – и дала ей платочек.

Баба-яга дожидается; подошла она к окну и спрашивает: «Ткёшь ли, племянушка, ткёшь ли, милая?» – «Тку, тётушка, тку, милая!» Баба-яга и отошла, а девочка дала коту ветчинки и спрашивает: «Нельзя ли как-нибудь уйти отсюдова?» – «Вот тебе гребешок и полотенце, – говорит кот, – возьми их и убежи; за тобою будет гнаться Баба-яга, ты приклони ухо к земле, и как заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце – сделается широкая-широкая река; если ж Баба-яга перейдёт через реку и

станет догонять тебя, ты опять приклони ухо к земле, и как услышишь, что она близко, брось гребешок – сделается дремучий-дремучий лес; сквозь него она уже не проберётся!»

Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала; собаки хотели её рвать – она бросила им хлебца, и они её пропустили; ворота хотели захлопнуться – она подлила им под пяточки маслица, и они её пропустили; берёзка хотела ей глаза выстегать – она её ленточкой перевязала, и та её пропустила. А кот сел за кросна и ткёт: не столько наткал, сколько напутал. Баба-яга подошла к окну и спрашивает: «Ткёшь ли, племянушка, ткёшь ли, милая?» – «Тку, тётка, тку, милая!» – отвечает грубо кот.

Баба-яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и ругать, зачем не выцарапал девочке глаза. «Я тебе сколько служу, – говорит кот, – ты мне косточки не дала, а она мне ветчинки дала». Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на берёзку и на работницу, давай всех ругать и колотить. Собаки говорят ей: «Мы тебе сколько служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца дала». Ворота говорят: «Мы тебе сколько служим, ты нам водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица подлила». Берёзка говорит: «Я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не перевязала, она меня ленточкой перевязала». Работница говорит: «Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не подарила, а она мне платочек подарила».

Баба-яга костяная нога поскорей села на ступу, толкачом погоняет, помелом след заметает и пустилась в погоню за девочкой. Вот девочка приклонила ухо к земле и слышит, что Баба-яга гонится, и уж близко, взяла да и бросила полотенце: сделалась река такая широкая-широкая! Баба-яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела; воротилась домой, взяла своих быков и пригнала к реке; быки выпили всю реку дочиста. Баба-яга пустилась опять в погоню. Девочка приклонила ухо к земле и слышит, что Баба-яга близко, бросила гребешок: сделался лес такой дремучий да страшный! Баба-яга стала его грызть, но сколь ни старалась – не могла прогрызть и воротилась назад.

А дед уже приехал домой и спрашивает: «Где же моя дочка?» – «Она пошла к тётушке», – говорит мачеха. Немного погодя и девочка прибежала домой. «Где ты была?» – спрашивает отец. «Ах, батюшка! – говорит она. – Так и так – меня матушка посылала к тётке попросить иголочку с ниточкой – мне рубашку сшить, а тётка, Баба-яга, меня съесть хотела». – «Как же ты ушла, дочка?» Так и так – рассказывает девочка. Дед как узнал всё это, рассердился на жену и расстрелил её; а сам с дочкою стал жить да поживать да добра наживать, и я там был, мёд-пиво пил: по усам текло, в рот не попало.

Подземные царства

В то давнее время, когда мир был наполнен лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по имени Горох с царицей Анастасьей Прекрасной; у них было три сына-царевича.

И вдруг стряслась беда немалая – утащил царицу нечистый дух. Говорит царю старший сын:

– Батюшка, благослови меня, поеду отыскивать матушку!

Поехал и пропал. Три года про него ни вести, ни слуху не было. Стал второй сын проситься:

– Батюшка, благослови меня в путь-дорогу, авось мне посчастливится найти и брата, и матушку!

Царь благословил. Он поехал и тоже без вести пропал – словно в воду канул.

Приходит к царю младший сын, Иван-царевич:

– Любезный батюшка, благослови меня в путь-дорогу, авось разыщу и братьев, и матушку!

– Поезжай, сынок!

Иван-царевич пустился в чужедальнюю сторону. Ехал-ехал и приехал к синю морю. Остановился на бережку и думает:

«Куда теперь путь держать?»

Вдруг прилетели на море тридцать три колпицы, ударились оземь и стали красными девицами – все хороши, а одна лучше всех. Разделись и бросились в воду. Много ли, мало ли они купались – Иван-царевич подкрался, взял у той девицы, что всех краше, кушачок[3] и спрятал за пазуху.

Искупались девицы, вышли на берег, начали одеваться – одного кушачка нет.

– Ах, Иван-царевич, – говорит красавица, – отдай мне кушачок!

– Скажи прежде, где моя матушка?

– Твоя матушка у моего отца живёт, у Ворона Вороновича. Ступай вверх по морю, попадётся тебе серебряная птичка – золотой хохолок. Куда она полетит, туда и ты иди!

Иван-царевич отдал ей кушачок и пошёл вверх по морю. Тут повстречал своих братьев, поздоровался с ними и взял с собой.

Идут они вместе берегом, увидели серебряную птичку – золотой хохолок и побежали за ней следом. Птичка летела, летела и бросилась под плиту железную, в яму подземельную.

– Ну, братцы, – говорит Иван-царевич, – благословите меня вместо отца, вместо матери: опущусь я в эту яму и узнаю, какова земля иноверная, не там ли наша матушка!

Братья его благословили, он обвязался верёвкой и полез в ту яму глубокую. Спускался ни много ни мало – ровно три года. Спустился и пошёл путём-дорогою.

Шёл-шёл, шёл-шёл, увидел медное царство: во дворце сидят тридцать три девицы-колпицы, вышивают полотенца хитрыми узорами – городами с пригородками.

– Здравствуй, Иван-царевич! – говорит царевна медного царства. – Куда идёшь, куда путь держишь?

– Иду свою матушку искать!

– Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича. Он хитёр и мудр, по горам, по долам, по вертепам[4], по облакам летал! Он тебя, добра молодца, убьёт! Вот тебе клубочек, ступай к моей средней сестре – что она тебе скажет. А назад пойдёшь, меня не забудь!

Иван-царевич покатил клубочек и пошёл вслед за ним. Приходит в серебряное царство, и тут сидят тридцать три девицы-колпицы. Говорит царевна серебряного царства:

– Досёлева русского духа было видом не видать, слыхом не слыхать, а нынче русский дух воочую появляется! Что, Иван-царевич, от дела лытаешь али дело пытаешь?

– Ах, красная девица, иду искать матушку!

– Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича. И хитёр он, и мудр, по горам, по долам, по вертепам, по облакам летал! Эх, царевич, ведь он тебя убьёт! На тебе клубочек, ступай-ка ты к младшей моей сестре – что она тебе скажет: вперёд ли идти, назад ли вернуться?

Приходит Иван-царевич к золотому царству, и тут сидят тридцать три девицы-колпицы, полотенца вышивают. Всех выше, всех лучше царевна золотого царства – такая краса, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Говорит она:

– Здравствуй, Иван-царевич! Куда идёшь? Куда путь держишь?

– Иду матушку искать!

– Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича. И хитёр он, и мудр, по горам, по долам, по вертепам, по облакам летал! Эх, царевич, ведь он тебя убьёт! На тебе клубочек, ступай в жемчужное царство: там твоя мать живёт. Увидя тебя, она возрадуется и тотчас прикажет: «Няньки-мамки, подайте моему сыну зелена вина!» А ты не бери, проси, чтоб дала тебе трёхгодовалого вина, что в шкапу стоит, да горелую корку на закусочку. Не забудь ещё: у моего батюшки есть на дворе два чана воды – одна вода сильная, а другая малосильная. Переставь их с места на место и напейся сильной воды. А когда будешь бороться с Вороном Вороновичем и побеждать его, проси у него только

посошок-пёрышко.

Долго царевич с царевною разговаривали и так полюбили друг друга, что расставаться им не хочется, но делать нечего – попрощался Иван-царевич и отправился в путь-дорогу.

Шёл-шёл, приходит к жемчужному царству. Увидела его мать, обрадовалась и крикнула:

– Мамки-няньки! Подайте моему сыну зелена вина!

– Я не пью простого вина, подайте мне трёхгодовалого, а на закуску горелую корку!

Выпил царевич трёхгодовалого вина, закусил горелою коркою, вышел на широкий двор, переставил чаны с места на место и принялся сильную воду пить.

Вдруг прилетает Ворон Воронович. Был он светел, как ясный день, а увидел Ивана-царевича – сделался мрачнее тёмной ночи. Опустился к чану и стал тянуть бессильную воду.

Тем временем Иван-царевич пал к нему на крылья. Ворон Воронович взвился высоко-высоко, носил его и по долам, и по горам, и по вертепам, и по облакам и начал спрашивать:

– Что тебе нужно, Иван-царевич? Хочешь – казной наделю?

– Ничего мне не надобно, только дай мне посошок-пёрышко!

– Нет, Иван-царевич! Больно в широки сани садишься!

И опять понёс его Ворон по горам и по долам, по вертепам и облакам. А Иван-царевич крепко держится: налёг всей своей тяжестью и чуть-чуть не обломил ему крылья. Вскрикнул Ворон Воронович:

– Не ломай ты мои крылышки, возьми посошок-пёрышко!

Отдал царевичу посошок-пёрышко, сам сделался простым вороном и полетел на крутые горы.

А Иван-царевич пришёл в жемчужное царство, взял свою матушку и пошёл в обратный путь. Смотрит – жемчужное царство клубочком свернулось да вслед за ним покатилось.

Пришёл в золотое царство, потом в серебряное, а потом и в медное, взял с собой трёх прекрасных царевен, а те царства свернулись клубочками да и за ним же покатились. Подходит к верёвке и затрубил в золотую трубу:

– Братцы родные! Если живы, меня не выдайте!

Братья услыхали трубу, ухватились за верёвку и вытащили на белый свет красную девицу, медного царства царевну. Увидели её и начали меж собой ссориться: один другому уступить её не хочет.

– Что вы бьётесь, добрые молодцы! Там есть ещё лучше меня красная девица! – говорит царевна медного царства.

Царевичи опустили верёвку и вытащили царевну серебряного царства. Опять начали спорить и драться. Один говорит:

– Пусть мне достанется!

А другой:

– Не хочу! Пусть моя будет!

– Не ссорьтесь, добрые молодцы, там есть ещё краше меня девица, – говорит царевна серебряного царства.

Царевичи перестали драться, опустили верёвку и вытащили царевну золотого царства. Опять было принялись ссориться, да царевна-красавица тотчас остановила их:

– Там ждёт ваша матушка!

Вытащили они свою матушку и опустили верёвку за Иваном-царевичем. Подняли его до половины и обсекли верёвку. Полетел Иван-царевич в пропасть и крепко ушибся – полгода лежал без памяти. Очнувшись, посмотрел кругом, припомнил всё, что с ним сталось, вынул из кармана посошок-пёрышко и ударил им о землю. В ту же минуту явились двенадцать молодцев:

– Что, Иван-царевич, прикажете?

– Вынесите меня на вольный свет!

Молодцы подхватили его под руки и вынесли на вольный свет.

Стал Иван-царевич про своих братьев разведывать и узнал, что они давно поженились: царевна из медного царства вышла замуж за среднего брата, царевна из серебряного царства – за старшего брата, а его наречённая невеста ни за кого не идёт. И вздумал на ней сам отец-старик жениться: собрал думу, обвинил свою жену в том, что совет держит со злыми духами, и велел отрубить ей голову. После казни спрашивает он царевну из золотого царства:

– Идёшь за меня замуж?

– Тогда пойду за тебя, когда сошьёшь мне башмаки без мерки!

Царь приказал клич кликать, всех и каждого выспрашивать, не сошьёт ли кто царевне башмаков без мерки? На ту пору приходит Иван-царевич в своё государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю:

– Ступай, дедушка, бери на себя это дело. Я тебе башмаки сошью, только ты на меня не сказывай!

Старик пошёл к царю:

– Я готов за эту работу взяться!

Царь дал ему товару на пару башмаков и спрашивает:

– Да потрафишь ли ты, старичок?

– Не бойся, государь, у меня сын чеботарь[5]!

Воротясь домой, отдал старичок товар Ивану-царевичу, тот изрезал товар в куски, выбросил за окно, потом отворил золотое царство и вынул готовые башмаки:

– Вот, дедушка, возьми, отнеси к царю!

Царь обрадовался, пристаёт к невесте:

– Скоро ли к венцу ехать?

Она отвечает:

– Тогда за тебя пойду, когда сошьёшь мне платье без мерки!

Царь опять хлопочет, сбирает к себе всех мастеровых, даёт им большие деньги, только чтоб платье без мерки сшили. Иван-царевич говорит старику:

– Дедушка, иди к царю, возьми материю, я тебе платье сошью, только на меня не сказывай!

Старик поплёлся во дворец, взял атласа и бархата, воротился домой и отдал царевичу. Иван-царевич тотчас за ножницы, изрезал на клочки весь атлас и бархат и выкинул в окно. Отворил золотое царство, взял оттуда что ни есть лучшее платье и отдал старику:

– Неси во дворец!

Царь радёхонек:

– Что, невеста моя возлюбленная, не пора ли нам к венцу ехать?

– Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмёшь старикова сына да велишь в молоке сварить!

Царь не задумался, отдал приказ – и в тот же день собрали со всех дворов по ведру молока, налили большой чан и вскипятили на сильном огне.

Привели Ивана-царевича. Начал он со всеми прощаться, в землю кланяться. Бросили его в чан: он нырнул, выскочил вон и сделался таким красивым, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит царевна:

– Посмотри-ка, царь! За кого мне замуж идти: за тебя ли, старого, или за него, доброго молодца?

Царь подумал: «Если и я в молоке искупаюсь, таким же красавцем сделаюсь!» Бросился в чан и сварился в молоке…

А Иван-царевич поехал с царевной венчаться. Обвенчались, выслал он своих братьев из царства и стал с царевной жить-поживать да добра наживать.

Былины

Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча

Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у неё любимый сын – богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла: он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни спокойный, ласковый. Никого он не заругает, никого зря не обидит. Недаром прозвали его «тихий Добрынюшка».

Вот раз в жаркий летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошёл он к матери Мамелфе Тимофеевне:

– Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай-реке, в студёной воде искупаться – истомила меня жара летняя.

Разохалась Мамелфа Тимофеевна, стала Добрыню отговаривать:

– Милый сын мой Добрынюшка, ты не езди к Пучай-реке. Пучай-река свирепая, сердитая. Из первой струйки огонь сечёт, из второй струйки искры сыплются, из третьей струйки дым столбом валит.

– Хорошо, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать.

Отпустила Добрыню Мамелфа Тимофеевна.

Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой греческой, взял с собой копьё да лук со стрелами, саблю острую да плёточку.

Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу да в путь и отправился. Едет Добрыня час-другой; жарко палит солнце летнее, припекает Добрыне голову.

Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, повернул коня к Пучай-реке.

От Пучай-реки прохладой несёт.

Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья молодому слуге:

– Ты постой здесь, покарауль коня.

Снял он с головы шляпу греческую, снял одежду дорожную, всё оружие на коня сложил и в реку бросился. Плывёт Добрыня по Пучай-реке, удивляется:

– Что мне матушка про Пучай-реку рассказывала? Пучай-река не свирепая, Пучай-река тихая, словно лужица дождевая.

Не успел Добрыня сказать – вдруг потемнело небо, а тучи на небе нет, и дождя-то нет, а гром гремит, и грозы-то нет, а огонь

блестит…

Поднял голову Добрыня и видит, что летит к нему Змей Горыныч, страшный змей о трёх головах, о семи когтях, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят.

Увидал Змей Добрыню, громом загремел:

– Эх, старые люди пророчили, что убьёт меня Добрыня Никитич, а Добрыня сам в мои лапы пришёл. Захочу теперь – живым сожру, захочу – в своё логово унесу, в плен возьму. Немало у меня в плену русских людей, не хватало только Добрыни.

А Добрыня говорит тихим голосом:

– Ах ты, змея проклятая, ты сначала возьми Добрынюшку, потом и хвастайся, а пока Добрыня не в твоих руках.

Хорошо Добрыня плавать умел; он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег да к коню своему бросился. А коня и след простыл: испугался молодой слуга рыка змеиного, вскочил на коня да и был таков. И увёз всё оружье Добрынино.

Нечем Добрыне со Змеем Горынычем биться.

А Змей опять к Добрыне летит, сыплет искрами горючими, жжёт Добрыне тело белое.

Дрогнуло сердце богатырское.

Поглядел Добрыня на берег, – нечего ему в руки взять: ни дубинки нет, ни камешка, только жёлтый песок на крутом берегу, да валяется его шляпа греческая.

Ухватил Добрыня шляпу греческую, насыпал в неё песку жёлтого – ни много ни мало – пять пудов – да как ударит шляпой Змея Горыныча – и отшиб ему голову.

Повалил он Змея с размаху на землю, придавил ему грудь коленками, хотел отбить ещё две головы…

Как взмолился тут Змей Горыныч:

– Ох, Добрынюшка, ох, богатырь, не убивай меня, пусти по свету летать, буду я всегда тебя слушаться! Дам тебе я великий обет: не летать мне к вам на широкую Русь, не брать в плен русских людей. Только ты меня помилуй, Добрынюшка, и не трогай моих змеёнышей.

Поддался Добрыня на лукавую речь, поверил Змею Горынычу, отпустил его, проклятого.

Только поднялся Змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя Владимира племянница.

Увидал Змей княжну, обрадовался, кинулся на неё из-под облака, ухватил в свои медные когти и унёс на горы Сорочинские.

В это время Добрыня слугу нашёл, стал надевать платье

дорожное, – вдруг потемнело небо, гром загремел. Поднял голову Добрыня и видит: летит Змей Горыныч из Киева, несёт в когтях Забаву Путятишну!

Тут Добрыня запечалился – запечалился, закручинился, домой приехал нерадостен, на лавку сел, слова не сказал.

Стала его мать расспрашивать:

– Ты чего, Добрынюшка, невесел сидишь? Ты об чём, мой свет, печалишься?

– Ни об чём не кручинюсь, ни об чём я не печалюсь, а дома мне сидеть невесело. Поеду я в Киев к князю Владимиру, у него сегодня весёлый пир.

– Не езжай, Добрынюшка, к князю, недоброе чует моё сердце. Мы и дома пир заведём.

Не послушался Добрыня матушки и поехал в Киев к князю Владимиру.

Приехал Добрыня в Киев, прошёл в княжескую горницу. На пиру столы от кушаний ломятся, стоят бочки мёда сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы сидят.

Ходит князь по горнице, гостей не потчует. Княгиня фатой закрылась, на гостей не глядит.

Вот Владимир-князь и говорит:

– Эх, гости мои любимые, невесёлый у нас пир идёт! И княгине горько, и мне нерадостно. Унёс проклятый Змей Горыныч любимую нашу племянницу, молодую Забаву Путятишну. Кто из вас съездит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освобо-дит её?!

Куда там! Прячутся гости друг за дружку: большие – за средних, средние – за меньших, а меньшие и рот закрыли.

Вдруг выходит из-за стола молодой богатырь Алёша Попович.

– Вот что, князь Красное Солнышко, был я вчера в чистом поле, видел у Пучай-реки Добрынюшку. Он со Змеем Горынычем побратался, назвал его братом меньшим. Ты пошли к Змею Добрынюшку. Он тебе любимую племянницу без бою у названого братца выпросит.

Рассердился Владимир-князь:

– Коли так, садись, Добрыня, на коня, поезжай на гору Сорочинскую, добывай мне любимую племянницу. А не добудешь Забавы Путятишны – прикажу тебе голову срубить!

Опустил Добрыня буйну голову, ни словечка не ответил, встал из-за стола, сел на коня и домой поехал.

Вышла ему навстречу матушка, видит – на Добрыне лица нет.

– Что с тобой, Добрынюшка, что с тобой, сынок, что на пиру случилось? Обидели тебя, или чарой[6] обнесли, или на худое место посадили?

– Не обидели меня, и чарой не обнесли, и место мне было по

чину, по званию.

– А чего же ты, Добрыня, голову повесил?

– Велел мне Владимир-князь сослужить службу великую: съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть Забаву Путятишну. А Забаву Путятишну Змей Горыныч унёс.

Ужаснулась Мамелфа Тимофеевна, да не стала плакать и печалиться, а стала над делом раздумывать.

– Ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорей, набирайся силушки. Утро вечера мудреней, завтра будем совет держать.

Лёг Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит. А Мамелфа Тимофеевна спать не ложится, на лавку садится и плетёт всю ночь из семи шелков плёточку-семихвосточку. Утром-светом разбудила мать Добрыню Никитича:

– Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в старую конюшню. В третьем стойле дверь не открывается, не под силу нам была дверь дубовая. Понатужься, Добрынюшка, отвори дверь, там увидишь дедова коня Бурушку. Стоит Бурка в стойле пятнадцать лет не обихоженный. Ты его почисти, накорми, напои, к крыльцу приведи.

Пошёл Добрыня в конюшню, сорвал дверь с петель, вывел Бурушку на белый свет, почистил, выкупал, привёл ко крыльцу. Стал Бурушку засёдлывать. Положил на него потничек, сверху потничка – войлочек, потом седло черкасское, ценными шелками вышитое, золотом изукрашенное, подтянул двенадцать подпруг, зануздал золотой уздой. Вышла Мамелфа Тимофеевна, подала ему плётку-семихвостку:

– Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, Змея Горыныча дома не случится. Ты конём налети на логово и начни топтать змеёнышей. Будут змеёныши Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плёткой меж ушей хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеёнышей отряхивать и всех притопчет до единого.

Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки, уезжал сын от родимой матушки на трудный, на кровавый бой.

День уходит за днём, будто дождь дождит, а неделя за неделей как река бежит. Едет Добрыня при красном солнышке, едет Добрыня при светлом месяце, выехал на гору Сорочинскую.

А на горе у змеиного логова кишмя-кишат змеёныши. Стали они Бурушке ноги обвивать, стали копыта подтачивать. Бурушка скакать не может, на колени падает.

Вспомнил тут Добрыня наказ матери, выхватил плётку семи шелков, стал Бурушку меж ушами бить, приговаривать:

– Скачи, Бурушка, подскакивай, прочь от ног змеёнышей отряхивай.

От плётки у Бурушки силы прибыло, стал он высоко скакать, за версту камешки откидывать, стал прочь от ног змеёнышей отряхивать. Он их копытом бьёт и зубами рвёт и притоптал всех до единого.

Сошёл Добрыня с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую – богатырскую палицу и пошёл к змеиным пещерам.

Только шаг ступил – потемнело небо, гром загремел: летит Змей Горыныч, в когтях мёртвое тело держит. Из пасти огонь сечёт, из ушей дым валит, медные когти как жар горят…

Увидал Змей Добрынюшку, бросил мёртвое тело наземь, зарычал громким голосом:

– Ты зачем, Добрыня, наш обет сломал, потоптал моих детёнышей?

– Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше нарушил, обет сломал? Ты зачем летал, Змей, к Киеву, ты зачем унёс Забаву Путятишну?! Отдавай мне княжну без боя, так я тебя прощу.

– Не отдам я Забаву Путятишну, я её сожру, и тебя сожру, и всех русских людей в полон возьму!

Рассердился Добрыня и на Змея бросился.

И пошёл тут жестокий бой.

Горы Сорочинские посыпались, дубы с корнями вывернулись, трава на аршин в землю ушла…

Бьются они три дня и три ночи; стал Змей Добрыню одолевать, стал подкидывать, стал подбрасывать… Вспомнил тут Добрыня про плёточку, выхватил её и давай Змея между ушей стегать. Змей Горыныч на колени упал, а Добрыня его левой рукой к земле прижал, а правой рукой плёткой охаживает. Бил, бил его плёткой шёлковой, укротил как скотину и отрубил все головы.

Хлынула из Змея чёрная кровь, разлилась к востоку и к западу, залила Добрыню до пояса.

Трое суток стоит Добрыня в чёрной крови, стынут его ноги, холод до сердца добирается. Не хочет русская земля змеиную кровь принимать.

Видит Добрыня, что ему конец пришёл, вынул плёточку семи шелков, стал землю хлестать, приговаривать:

– Расступись ты, мать сыра земля, и пожри кровь змеиную.

Расступилась сырая земля и пожрала кровь змеиную.

Отдохнул Добрыня Никитич, вымылся, пообчистил доспехи богатырские и пошёл к змеиным пещерам. Все пещеры медными дверями затворены, железными засовами заперты, золотыми замками увешаны.

Разбил Добрыня медные двери, сорвал замки и засовы, зашёл в первую пещеру. А там видит людей несметное число с сорока

земель, с сорока стран, в два дня не сосчитать.

Говорит им Добрынюшка:

– Эй же вы, люди иноземные и воины чужестранные! Вы ходите на вольный свет, разъезжайтесь по своим местам да вспоминайте русского богатыря. Без него вам бы век сидеть в змеином плену.

Стали выходить они на волю, до земли Добрыне кланяться:

– Век мы тебя помнить будем, русский богатырь!

А Добрыня дальше идёт, пещеру за пещерой открывает, пленных людей освобождает. Выходят на свет и старики, и молодушки, детки малые и бабки старые, русские люди и из чужих стран, а Забавы Путятишны нет как нет.

Так прошёл Добрыня одиннадцать пещер, а в двенадцатой нашёл Забаву Путятишну: висит княжна на сырой стене, за руки золотыми цепями прикована. Оторвал цепи Добрынюшка, снял княжну со стены, взял на руки, на вольный свет из пещеры вынес.

А она на ногах стоит-шатается, от света глаза закрывает, на Добрыню не смотрит. Уложил её Добрыня на зелёную траву, накормил, напоил, плащом прикрыл, сам отдохнуть прилёг.

Вот скатилось солнце к вечеру, проснулся Добрыня, оседлал Бурушку и разбудил княжну. Сел Добрыня на коня, посадил Забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу и счёту нет, все Добрыне в пояс кланяются, за спасение благодарят, в свои земли спешат.

Выехал Добрыня в жёлтую степь, пришпорил коня и повёз Забаву Путятишну к Киеву.

Илья Муромец и Соловей-разбойник

Скачет Илья Муромец во всю конскую прыть. Бурушка-Косматушка с горы на гору перескакивает, реки-озёра перепрыгивает, холмы перелетает.

Доскакали они до Брынских лесов, дальше Бурушке скакать нельзя: разлеглись болота зыбучие, конь по брюхо в воде тонет.

Соскочил Илья с коня. Он левой рукой Бурушку поддерживает, а правой рукой дубы с корнем рвёт, настилает через болото настилы дубовые. Тридцать вёрст Илья гати настелил – до сих пор по ней люди добрые ездят.

Так дошёл Илья до речки Смородиной.

Течёт река широкая, бурливая, с камня на камень перекатывается.

Заржал Бурушка, взвился выше тёмного леса и одним скачком перепрыгнул реку.

Сидит за рекой Соловей-разбойник на трёх дубах, на девяти

суках. Мимо тех дубов ни сокол не пролетит, ни зверь не пробежит, ни гад не проползёт. Все боятся Соловья-разбойника, никому умирать не хочется.

Услыхал Соловей конский скок, привстал на дубах, закричал страшным голосом:

– Что за невежа проезжает тут, мимо моих заповедных дубов? Спать не даёт Соловью-разбойнику!

Да как засвищет он по-соловьиному, зарычит по-звериному, зашипит по-змеиному, так вся земля дрог-нула, столетние дубы покачнулись, цветы осыпались, трава полегла. Бурушка-Косматушка на колени упал.

А Илья в седле сидит, не шевельнётся, русые кудри на голове не дрогнут. Взял он плётку шёлковую, ударил коня по крутым бокам:

– Травяной ты мешок, не богатырский конь! Не слыхал ты разве писку птичьего, шипу гадючего?! Вставай на ноги, подвези меня ближе к Соловьиному гнезду, не то волкам тебя брошу на съедение!

Тут вскочил Бурушка на ноги, подскакал к Соловьиному гнезду. Удивился Соловей-разбойник, из гнезда высунулся.

А Илья, минуточки не мешкая, натянул тугой лук, спустил калёную стрелу, небольшую стрелу, весом в целый пуд.

Взвыла тетива, полетела стрела, угодила Соловью в правый глаз, вылетела через левое ухо. Покатился Соловей из гнезда, словно овсяный сноп. Подхватил его Илья на руки, связал крепко ремнями сыромятными, подвязал к левому стремени.

Глядит Соловей на Илью, слово вымолвить боится.

– Что глядишь на меня, разбойник, или русских богатырей не видывал?

– Ох, попал я в крепкие руки, видно, не бывать мне больше на волюшке.

Поскакал Илья дальше по прямой дороге и наскакал на подворье Соловья-разбойника. У него двор на семи верстах, на семи столбах, у него вокруг железный тын, на каждой тычинке по маковке, на каждой маковке голова богатыря убитого. А на дворе стоят палаты белокаменные, как жар горят крылечки золочёные.

Увидала дочка Соловья богатырского коня, закричала на весь двор:

– Едет, едет наш батюшка Соловей Рахманович, везёт у стремени мужичишку-деревенщину!

Выглянула в окно жена Соловья-разбойника, руками всплеснула:

– Что ты говоришь, неразумная! Это едет мужик-деревенщина и у стремени везёт вашего батюшку – Соловья Рахмановича!

Выбежала старшая дочь Соловья – Пелька – во двор, ухватила доску железную весом в девяносто пудов и метнула её в Илью Муромца. Но Илья ловок да увёртлив был, отмахнул доску богатырской рукой, полетела доска обратно, попала в Пельку, убила её до смерти.

Бросилась жена Соловья Илье в ноги:

– Ты возьми у нас, богатырь, серебра, золота, бесценного жемчуга, сколько может увезти твой богатырский конь, отпусти только нашего батюшку, Соловья Рахмановича!

Говорит ей Илья в ответ:

– Мне подарков неправедных не надобно. Они добыты слезами детскими, они политы кровью русскою, нажиты нуждой крестьянскою! Как в руках разбойник – он всегда тебе друг, а отпустишь – снова с ним наплачешься. Я свезу Соловья в Киев-город, там на квас пропью, на калачи проем!

Повернул Илья коня и поскакал к Киеву. Приумолк Соловей, не шелохнется.

Едет Илья по Киеву, подъезжает к палатам княжеским. Привязал он коня к столбику точёному, оставил с конём Соловья-разбойника, а сам пошёл в светлую горницу.

Там у князя Владимира пир идёт, за столами сидят богатыри русские. Вошёл Илья, поклонился, стал у порога:

– Здравствуй, князь Владимир с княгиней Апраксией, принимаешь ли к себе заезжего молодца?

Спрашивает его Владимир Красное Солнышко:

– Ты откуда, добрый молодец, как тебя зовут? Какого роду-племени?

– Зовут меня Ильёй. Я из-под Мурома. Крестьянский сын из села Карачарова. Ехал я из Чернигова дорогой прямоезжей.

Тут как вскочит из-за стола Алёшка Попович:

– Князь Владимир, ласковое наше солнышко, в глаза мужик над тобой насмехается, завирается. Нельзя ехать дорогой прямой из Чернигова. Там уж тридцать лет сидит Соловей-разбойник, не пропускает ни конного, ни пешего. Гони, князь, нахала-деревенщину из дворца долой!

Не взглянул Илья на Алёшку Поповича, поклонился князю Владимиру:

– Я привёз тебе, князь, Соловья-разбойника, он на твоём дворе, у коня моего привязан. Ты не хочешь ли поглядеть на него?

Повскакали тут с мест князь с княгинею и все богатыри, поспешили за Ильёй на княжеский двор. Подбежали к Бурушке-Косматушке.

А разбойник висит у стремени, травяным мешком висит, по рукам-ногам ремнями связан. Левым глазом он глядит на Киев и

на князя Владимира.

Говорит ему князь Владимир:

– Ну-ка, засвищи по-соловьиному, зарычи по-звериному.

Не глядит на него Соловей-разбойник, не слушает:

– Не ты меня с бою брал, не тебе мне приказывать.

Просит тогда Владимир-князь Илью Муромца:

– Прикажи ты ему, Илья Иванович.

– Хорошо, только ты на меня, князь, не гневайся, а закрою я тебя с княгинею полами моего кафтана крестьянского, а то как бы беды не было! А ты, Соловей Рахманович, делай, что тебе приказано!

– Не могу я свистеть, у меня во рту запеклось.

– Дайте Соловью чару сладкого вина в полтора ведра, да другую пива горького, да третью мёду хмельного, закусить дайте калачом крупитчатым, тогда он засвищет, потешит нас…

Напоили Соловья, накормили; приготовился он свистать.

– Ты смотри, Соловей, – говорит Илья, – ты не смей свистать во весь голос, а свистни ты полусвистом, зарычи полурыком, а то будет худо тебе.

Не послушал Соловей наказа Ильи Муромца, захотел он разорить Киев-град, захотел убить князя с княгиней, всех русских богатырей. Засвистел он во весь соловьиный свист, заревел во всю мочь. Что тут сделалось!

Маковки на теремах покривились, крылечки от стен отвалились, стёкла в горницах полопались, разбежались кони из конюшен, все богатыри на землю упали, на четвереньках по двору расползлись. Сам князь Владимир еле живой стоит, шатается, у Ильи под кафтаном прячется.

Рассердился Илья на разбойника:

– Я велел тебе князя с княгиней потешить, а ты сколько бед натворил! Ну, теперь я с тобой за всё рассчитаюсь! Полно тебе слезить отцов-матерей, полно вдовить молодушек, сиротить детей, полно разбойничать!

Взял Илья саблю острую, отрубил Соловью голову.

– Спасибо тебе, Илья Муромец, – говорит Владимир-князь. – Оставайся в моей дружине, будешь старшим богатырём, над другими богатырями начальником. И живи ты у нас в Киеве, век живи, отныне и до смерти.

И пошли они пир пировать.

Князь Владимир посадил Илью около себя, около себя против княгинюшки. Алёше Поповичу обидно стало; схватил Алёша со стола булатный нож и метнул его в Илью Муромца. На лету поймал Илья острый нож и воткнул его в дубовый стол. На Алёшу он и глазом не взглянул.

Подошёл к Илье вежливый Добрынюшка:

– Славный богатырь Илья Иванович, будешь ты у нас в дружине старшим. Ты возьми меня и Алёшу Поповича в товарищи. Будешь ты у нас за старшего, а я и Алёша за младшеньких.

Тут Алёша распалился, на ноги вскочил:

– Ты в уме ли, Добрынюшка? Сам ты роду боярского, я из старого роду поповского, а его никто не знает, не ведает, принесло его невесть откудова, а чудит у нас в Киеве, хвастает.

Был тут славный богатырь Самсон Самойлович. Подошёл он к Илье и говорит ему:

– Ты, Илья Иванович, на Алёшку не гневайся, роду он поповского хвастливого, лучше всех бранится, лучше хвастает.

Тут Алёша криком закричал:

– Да что же это делается? Кого русские богатыри старшим выбрали? Деревенщину лесную неумытую!

Тут Самсон Самойлович слово вымолвил:

– Много ты шумишь, Алёшенька, и неумные речи говоришь, – деревенским людом Русь кормится. Да и не по роду-племени слава идёт, а по богатырским делам да подвигам. За дела и слава Илюшеньке!

А Алёша как щенок на тура[7] гавкает:

– Много ли он славы добудет, на весёлых пирах меды попиваючи!

Не стерпел Илья, вскочил на ноги:

– Верное слово молвил поповский сын – не годится богатырю на пиру сидеть, живот растить. Отпусти меня, князь, в широкие степи, поглядеть, не рыщет ли враг по родной Руси, не залегли ли где разбойники.

И вышел Илья из гри́дни[8] вон.

Алёша Попович и Тугарин Змеевич

В славном городе Ростове у ростовского попа соборного был один-единственный сын. Звали его Алёша, прозывали по отцу Поповичем.

Алёша Попович грамоте не учился, за книги не садился, а учился с малых лет копьём владеть, из лука стрелять, богатырских коней укрощать. Силой Алёша не большой богатырь, зато дерзостью да хитростью взял. Вот подрос Алёша Попович до шестнадцати лет, и скучно ему стало в отцовском доме.

Стал он просить отца отпустить его в чистое поле, в широкое раздолье, по Руси привольной поездить, до синего моря добраться, в лесах поохотиться. Отпустил его отец, дал ему коня

богатырского, саблю, копьё острое да лук со стрелами. Стал Алёша коня седлать, стал приговаривать:

– Служи мне верно, богатырский конь. Не оставь меня ни мёртвым, ни раненым серым волкам на растерзание, чёрным воронам на расклевание, врагам на поругание! Где б мы ни были, домой привези!

Обрядил он своего коня по-княжески. Седло черкасское, подпруга шелковая, узда золочёная.

Позвал Алёша с собой любимого друга Екима Ивановича и поутру в субботу из дому выехал искать себе богатырской славы.

Вот едут верные друзья плечо в плечо, стремя в стремя, по сторонам поглядывают. Никого в степи не видно – ни богатыря, с кем бы силой помериться, ни зверя, чтоб поохотиться. Раскинулась под солнцем русская степь без конца, без края, и шороха в ней не слыхать, в небе птицы не видать. Вдруг видит Алёша – лежит на кургане камень, а на камне что-то написано. Говорит Алёша Екиму Ивановичу:

– Ну-ка, Екимушка, прочитай, что на камне написано. Ты хорошо грамотный, а я грамоте не обучен и читать не могу.

Соскочил Еким с коня, стал на камне надпись разбирать.

– Вот, Алёшенька, что на камне написано: правая дорога ведёт к Чернигову, левая дорога – в Киев, к князю Владимиру, а прямо дорога – к синему морю, к тихим заводям.

– Куда же нам, Еким, путь держать?

– К синему морю ехать далеко, к Чернигову ехать незачем: там калачницы хорошие. Съешь один калач – другой захочется, съешь другой – на перину завалишься, не сыскать нам там богатырской славы. А поедем мы к князю Владимиру, может, он нас в свою дружину возьмёт.

– Ну так завернём, Еким, на левый путь.

Завернули молодцы коней и поехали по дороге к Киеву. Доехали они до берега Сафат-реки, поставили белый шатёр. Алёша с коня соскочил, в шатёр вошёл, лёг на зелёную траву и заснул крепким сном. А Еким коней расседлал, напоил, прогулял, стреножил и в луга пустил, только тогда отдыхать пошёл.

Утром-светом проснулся Алёша, росой умылся, белым полотенцем вытерся, стал кудри расчёсывать.

А Еким вскочил, за конями сходил, попоил их, овсом покормил, заседлал и своего, и Алёшиного.

Снова молодцы в путь пустились.

Едут-едут, вдруг видят – среди степи идёт старичок. Нищий странник – калика перехожая.

На нём лапти из семи шелков сплетённые, на нём шуба соболиная, шапка греческая, а в руках дубинка дорожная.

Увидал он молодцов, загородил им путь:

– Ой вы, молодцы удалые, вы не ездите за Сафат-реку. Стал там станом злой враг Тугарин, Змея сын. Вышиной он как высокий дуб, меж плечами косая сажень, между глаз можно стрелу положить. У него крылатый конь – как лютый зверь: из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит. Не езжайте туда, молодцы!

Екимушка на Алёшу поглядывает, а Алёша распалился, разгневался:

– Чтобы я да всякой нечисти дорогу уступил! Не могу я его взять силой, возьму хитростью. Братец мой, дорожный странничек, дай ты мне на время твоё платье, возьми мои богатырские доспехи, помоги мне с Тугарином справиться.

– Ладно, бери, да смотри, чтобы беды не было: он тебя в один глоток проглотить может.

– Ничего, как-нибудь справимся!

Надел Алёша цветное платье и пошёл пешком к Сафат-реке.

Идёт, на дубинку опирается, прихрамывает…

Увидел его Тугарин Змеевич, закричал так, что дрогнула земля, согнулись высокие дубы, воды из реки выплеснулись. Алёша еле жив стоит, ноги у него подкашиваются.

– Гей, – кричит Тугарин, – гей, странничек, не видал ли ты Алёшу Поповича? Мне бы хотелось его найти, да копьём поколоть, да огнём пожечь.

А Алёша шляпу греческую на лицо натянул, закряхтел, застонал и отвечает стариковским голосом:

– Ох-ох-ох, не гневись на меня, Тугарин Змеевич! Я от старости оглох, ничего не слышу, что ты мне приказываешь. Подъезжай ко мне поближе, к убогому.

Подъехал Тугарин к Алёше, наклонился с седла, хотел ему в ухо гаркнуть, а Алёша ловок, увёртлив был, как хватит его дубинкой между глаз – так Тугарин без памяти на землю пал.

Снял с него Алёша дорогое платье, самоцветами расшитое, не дешёвое платье, ценой в сто тысяч, на себя надел. Самого Тугарина к седлу приторочил и поехал обратно к своим друзьям.

А там Еким Иванович сам не свой, рвётся Алёше помочь, да нельзя в богатырское дело вмешиваться, Алёшиной славе мешать.

Вдруг видит Еким – скачет конь что лютый зверь, на нём в дорогом платье Тугарин сидит.

Разгневался Еким, бросил наотмашь свою палицу в тридцать пудов, прямо в грудь Алёше Поповичу. Свалился Алёша замертво.

А Еким кинжал вытащил, бросился к упавшему, хочет добить Тугарина… И вдруг видит – перед ним Алёша лежит…

Грянулся наземь Еким Иванович, горько расплакался:

– Убил я, убил своего брата названого, дорогого Алёшу Поповича!

Стали они с каликой Алёшу трясти, качать, влили ему в рот питья заморского, растирали травами лечебными. Открыл глаза Алёша, встал на ноги, на ногах стоит-шатается.

Еким Иванович от радости сам не свой.

Снял он с Алёши платье Тугарина, одел его в богатырские доспехи, отдал калике его добро. Посадил Алёшу на коня, сам рядом пошёл: Алёшу поддерживает.

Только у самого Киева Алёша в силу вошёл.

Подъехали они к Киеву в воскресенье, к обеденной поре. Заехали на княжеский двор, соскочили с коней, привязали их к дубовым столбам и вошли в горницу.

Князь Владимир их ласково встречает.

– Здравствуйте, гости милые, вы откуда ко мне приехали? Как зовут вас по имени, величают по отчеству?

– Я из города Ростова, сын соборного попа Леонтия. А зовут меня Алёшей Поповичем. Ехали мы чистой степью, повстречали Тугарина Змеевича, он теперь у меня в тороках[9] висит.

Обрадовался Владимир-князь:

– Ну и богатырь ты, Алёшенька! Куда хочешь за стол садись: хочешь – рядом со мной, хочешь – против меня, хочешь – рядом с княгинею.

Алёша Попович не раздумывал, сел он рядом с княгинею. А Еким Иванович у печки стал.

Крикнул князь Владимир прислужников:

– Развяжите Тугарина Змеевича, принесите сюда в горницу!

Только Алёша взялся за хлеб, за соль – растворились двери горницы, внесли двенадцать конюхов на золотой доске Тугарина, посадили рядом с князем Владимиром.

Прибежали стольники, принесли жареных гусей, лебедей, принесли ковши мёду сладкого.

А Тугарин неучтиво себя ведёт, невежливо. Ухватил лебёдушку и с костями съел, по ковриге целой за щёку запихивает. Сгрёб пироги сдобные да в рот побросал, за один дух десять ковшей мёду в глотку льёт.

Не успели гости кусочка взять, а уже на столе только косточки.

Нахмурился Алёша Попович и говорит:

– У моего батюшки попа Леонтия была собака старая и жадная. Ухватила она большую кость да и подавилась. Я её за хвост схватил, под гору метнул, – то же будет от меня Тугарину.

Потемнел Тугарин, как осенняя ночь, выхватил острый кинжал и метнул его в Алёшу Поповича.

Тут бы Алёше и конец пришёл, да вскочил Еким Иванович, на лету кинжал перехватил.

– Братец мой, Алёша Попович, сам изволишь в него нож бросать или мне позволишь?

– И сам не брошу, и тебе не позволю: неучтиво у князя в горнице ссору вести. А переведаюсь я с ним завтра в чистом поле, и не быть Тугарину живому завтра к вечеру.

Зашумели гости, заспорили, стали заклад держать, всё за Тугарина ставят – и корабли, и товары, и деньги.

За Алёшу ставят только княгиня Апраксия да Еким Иванович.

Встал Алёша из-за стола, поехал с Екимом в свой шатёр на Сафат-реке. Всю ночь Алёша не спит, на небо смотрит, подзывает тучу грозовую, чтобы смочила дождём Тугариновы крылья. Утром-светом прилетел Тугарин, над шатром вьётся, хочет сверху ударить. Да не зря Алёша ночь не спал: налетела туча громовая, грозовая, пролилась дождём, смочила Тугаринову коню могучие крылья. Грянулся конь наземь, по земле поскакал.

А Алёша крепко в седле сидит, острой сабелькой помахивает.

Заревел Тугарин так, что лист с деревьев посыпался:

– Тут тебе, Алёшка, конец: захочу – огнём спалю, захочу – конём потопчу, захочу – копьём заколю.

Подъехал к нему Алёша поближе и говорит:

– Что же ты, Тугарин, обманываешь?! Бились мы с тобой об заклад, что один на один силой померяемся, а теперь за тобой стоит сила несметная!

Оглянулся Тугарин назад, хотел посмотреть, какая сила за ним стоит, а Алёше только того и надобно. Взмахнул острой саблей и отсёк ему голову!

Покатилась голова на землю, как пивной котёл, загудела земля-матушка! Соскочил Алёша, хотел взять голову, да не мог от земли на вершок поднять. Крикнул Алёша Попович зычным голосом:

– Эй вы, верные товарищи, помогите голову Тугарина с земли поднять!

Подъехал Еким Иванович с товарищами, помог Алёше Поповичу голову Тугарина на богатырского коня взвалить.

Как приехали они к Киеву, заехали на княжеский двор, бросили среди двора чудище.

Вышел князь Владимир с княгинею, приглашал Алёшу за княжеский стол, говорил Алёше ласковые слова:

– Живи ты, Алёша, в Киеве, послужи мне, князю Владимиру. Я тебя, Алёша, пожалую.

Остался Алёша в Киеве дружинником.

Так про молодого Алёшу старину поют, чтобы добрые люди

слушали:

Наш Алёша роду поповского,
Ох и храбр и умён, да нравом сварлив.
Он не так силён, как напуском смел.

Илья Муромец и Калин-царь

Тихо, скучно у князя в горнице.

Не с кем князю совет держать, не с кем пир пировать, на охоту ездить…

Ни один богатырь в Киев не заглядывает.

А Илья сидит в глубоком погребе. На замки заперты решётки железные, завалены решётки дубьём, корневищами, засыпаны для крепости жёлтым песком. Не пробраться к Илье даже мышке серенькой.

Тут бы старому и смерть пришла, да была у князя дочка-умница. Знает она, что Илья Муромец мог бы от врагов защитить Киев-град, мог бы постоять за русских людей, уберечь от горя и матушку, и князя Владимира.

Вот она гнева княжеского не побоялась, взяла ключи у матушки, приказала верным своим служаночкам подкопать к погребу подкопы тайные и стала носить Илье Муромцу кушанья и мёды сладкие.

Сидит Илья в погребе жив-здоров, а Владимир думает – его давно на свете нет.

Сидит раз князь в горнице, горькую думу думает. Вдруг слышит – по дороге скачет кто-то, копыта бьют, будто гром гремит. Повалились ворота тесовые, задрожала вся горница, половицы в сенях подпрыгнули. Сорвались двери с петель кованых, и вошёл в горницу татарин – посол от самого царя татарского Калина.

Сам гонец ростом со старый дуб, голова – как пивной котёл.

Подаёт гонец князю грамоту, а в той грамоте написано:

«Я, царь Калин, татарами правил, татар мне мало, – я Русь захотел. Ты сдавайся мне, князь киевский, не то всю Русь я огнём сожгу, конями потопчу, запрягу в телеги мужиков, порублю детей и стариков, тебя, князь, заставлю коней стеречь, княгиню – на кухне лепёшки печь».

Тут Владимир-князь разохался, расплакался, пошёл к княгине Апраксии:

– Что мы будем делать, княгинюшка?! Рассердил я всех богатырей, и теперь нас защитить некому. Верного Илью Муромца

заморил я глупой смертью, голодной. И теперь придётся нам бежать из Киева.

Говорит князю его молодая дочь:

– Пошли, батюшка, поглядеть на Илью, может, он ещё живой в погребе сидит.

– Эх ты, дурочка неразумная! Если снимешь с плеч голову, разве прирастёт она? Может ли Илья три года без пищи сидеть? Давно уже его косточки в прах рассыпались…

А она одно твердит:

– Пошли слуг поглядеть на Илью.

Послал князь раскопать погреба глубокие, открыть решётки чугунные.

Открыли слуги погреба, а там Илья живой сидит, перед ним свеча горит. Увидали его слуги, к князю бросились.

Князь с княгиней спустились в погреба. Кланяется князь Илье до сырой земли:

– Помоги нам, Илюшенька, обложила татарская рать Киев с пригородами. Выходи, Илья, из погреба, постой за меня.

– Я три года по твоему указу в погребах просидел, не хочу я за тебя стоять!

Поклонилась ему княгинюшка:

– За меня постой, Илья Иванович!

– Для тебя я из погреба не выйду вон.

Что тут делать? Князь молчит, княгиня плачет, а Илья на них глядеть не хочет.

Вышла тут молодая княжеская дочь, поклонилась Илье Муромцу:

– Не для князя, не для княгини, не для меня, молодой, а для бедных вдов, для малых детей выходи, Илья Иванович, из погреба, ты постой за русских людей, за родную Русь!

Встал тут Илья, расправил богатырские плечи, вышел из погреба, сел на Бурушку-Косматушку, поскакал в татарский стан. Ехал-ехал, до татарского войска доехал.

Взглянул Илья Муромец, головой покачал: в чистом поле войска татарского видимо-невидимо, серой птице вокруг в день не облететь, быстрому коню в неделю не объехать.

Среди войска татарского стоит золотой шатёр. В том шатре сидит Калин-царь. Сам царь – как столетний дуб, ноги – брёвна кленовые, руки – грабли еловые, голова – как медный котёл, один ус золотой, другой серебряный.

Увидал царь Илью Муромца, стал смеяться, бородой трясти:

– Налетел щенок на больших собак! Где тебе со мной справиться, я тебя на ладонь посажу, другой хлопну, только мокрое место останется! Ты откуда такой выскочил, что на

Калина-царя тявкаешь?

Говорит ему Илья Муромец:

– Раньше времени ты, Калин-царь, хвастаешь! Не велик я богатырь, старый казак Илья Муромец, а, пожалуй, и я не боюсь тебя!

Услыхал это Калин-царь, вскочил на ноги:

– Слухом о тебе земля полнится. Коли ты тот славный богатырь Илья Муромец, так садись со мной за дубовый стол, ешь мои кушанья сладкие, пей мои вина заморские, не служи только князю русскому, служи мне, царю татарскому.

Рассердился тут Илья Муромец:

– Не бывало на Руси изменников! Я не пировать с тобой пришёл, а с Руси тебя гнать долой!

Снова начал его царь уговаривать:

– Славный русский богатырь, Илья Муромец, есть у меня две дочки, у них косы как воронье крыло, у них глазки словно щёлочки, платье шито яхонтом[10] да жемчугом. Я любую за тебя замуж отдам, будешь ты мне любимым зятюшкой.

Ещё пуще рассердился Илья Муромец:

– Ах ты, чучело заморское! Испугался духа русского! Выходи скорее на смертный бой, выну я свой богатырский меч, на твоей шее посватаюсь.

Тут взъярился и Калин-царь. Вскочил на ноги кленовые, кривым мечом помахивает, громким голосом покрикивает:

– Я тебя, деревенщина, мечом порублю, копьём поколю, из твоих костей похлёбку сварю!

Стал у них тут великий бой. Они мечами рубятся – только искры из-под мечей брызгают. Изломали мечи и бросили. Они копьями колются – только ветер шумит да гром гремит. Изломали копья и бросили. Стали биться они руками голыми.

Калин-царь Илюшеньку бьёт и гнёт, белые руки его ломает, резвые ноги его подгибает. Бросил царь Илью на сырой песок, сел ему на грудь, вынул острый нож.

– Распорю я тебе грудь могучую, посмотрю в твоё сердце русское.

Говорит ему Илья Муромец:

– В русском сердце прямая честь да любовь к Руси-матушке.

Калин-царь ножом грозит, издевается:

– А и впрямь невелик ты богатырь, Илья Муромец, верно, мало хлеба кушаешь.

– А я съем калач да и сыт с того.

Рассмеялся татарский царь:

– А я ем три печи калачей, в щах съедаю быка целого.

– Ничего, – говорит Илюшенька. – Была у моего батюшки

корова-обжорище, она много ела-пила да и лопнула.

Говорит Илья, а сам тесней к русской земле прижимается. От русской земли к нему сила идёт, по жилушкам Ильи перекатывается, крепит ему руки богатырские.

Замахнулся на него ножом Калин-царь, а Илюшенька как двинется… Слетел с него Калин-царь словно пёрышко.

– Мне, – Илья кричит, – от русской земли силы втрое прибыло!

Да как схватит он Калина-царя за ноги кленовые, стал кругом татарином помахивать, бить-крушить им войско татарское. Где махнёт – там станет улица, отмахнётся – переулочек! Бьёт-крушит Илья, приговаривает:

– Это вам за малых детушек! Это вам за кровь крестьянскую! За обиды злые, за поля пустые, за грабёж лихой, за разбой, за всю землю русскую!

Тут татары на убег пошли. Через поле бегут, громким голосом кричат:

– Ай, не приведись нам видеть русских людей, не встречать бы больше русских богатырей!

Полно с тех пор на Русь ходить!

Бросил Илья Калина-царя, словно ветошку негодную, в золотой шатёр зашёл, налил чару крепкого вина, не малую чару, в полтора ведра. Выпил он чару за единый дух. Выпил он за Русь-матушку, за её поля широкие крестьянские, за её города торговые, за леса зелёные, за моря синие, за лебедей на заводях!

Слава, слава родной Руси! Не скакать врагам по нашей земле, не топтать их коням землю русскую, не затмить им солнце наше красное!

Русская литература XIX века

Проза

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852–1906)

Николай Георгиевич Михайловский родился в старинной дворянской семье, когда-то одной из наиболее богатых и знатных в Херсонской губернии. Крестили его царь Николай I и мать революционерки Веры Засулич. Первоначальное образование, по традиции дворянских семей, он получил дома, затем учился в одесской Ришельевской гимназии, на юридическом факультете Петербургского университета, откуда перешёл в Институт путей сообщения. В пору студенческой практики Михайловский ездил кочегаром на паровозе, строил дорогу из Молдавии в Болгарию, участвовал в проектировании дороги между Ялтой и Севастополем. Очень тесно общается с революционерами. В годы первой русской революции он перечислил крупную сумму денег в партийную кассу.

С 1896 года за ним устанавливается строжайший надзор, который продолжался до его кончины.

Характер у Николая Георгиевича был кипучий. Он исколесил всю Россию, совершил кругосветное путешествие. Свои произведения писал «на ходу». И смерть настигла его неожиданно. Николай Георгиевич умер на редакционном заседании журнала «Вестник жизни» от паралича сердца.

Тёма и Жучка

Ночь. Тёма спит нервно и возбуждённо…

Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детские кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню.

– Няня, где Жучка? – спрашивает Тёма.

– И-и, – отвечает няня. – Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод. – И, помолчав, прибавляет: – Хоть бы убил сперва, а то так, живьём… Весь день, говорят, визжала, сердечная…

Тёме живо представляется старый, заброшенный колодец в углу сада, давно превращённый в свал всяких нечистот, представляется скользящее жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажжённую бумагу.

– Кто бросил? – спрашивает Тёма.

– Да ведь кто? Разве скажет!

Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове, у него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он всё вытаскивал Жучку какой-то длинной петлёй. Но Жучка всё обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал верёвку к столбу и, держась за эту верёвку, начал осторожно спускаться по срубу вниз; он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения.

Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет.

Тёма чувствовал во всём теле какую-то болезненную истому, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он начал быстро одеваться…

Одевшись, Тёма подошёл к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошёл через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло.

В столовой царил обычный утренний беспорядок: на столе стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром.

Тёма подошёл к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошёл к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу.

Его обдало свежей сыростью рассвета.

День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям, точно клочьями, повисли мохнатые, пушистые облака. Над садом лёгкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери одиноко валялся, забытый на скамейке…

Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися перевёрнутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые жёлтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья с опрокинутой ветром листвой так и остались наклонёнными, точно забывшись в сладком предрассветном сне.

Тёма пошёл по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из беседки…

Каретник оказался запертым, но Тёма знал и без замка ход в него: он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай длинную верёвку, служившую для просушки белья.

При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодец фонарём, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на Жучку – обжечь её.

Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке – перелез прямо через стену, отделявшую чёрный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался верёвкой и полез на стену. Он мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться: в голову точно стучали два молотка, и он едва не упал.

Взобравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадёт в свеженамоченную листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он всё-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее это его не спасло от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз…

Подбежав к отверстию старого, заброшенного колодца, пустынно торчавшего среди глухой, поросшей только высокой травой местности, Тёма вполголоса позвал:

– Жучка, Жучка!

Тёма замер в ожидании ответа.

Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донёсся до него жалобный, протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый громкий оклик:

– Жучка, Жучка!

На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала.

Тёму до слёз тронуло, что Жучка его узнала.

– Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу! – кричал он ей, точно она понимала его.

Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она просила его поторопиться с исполнением обещания.

– Сейчас, Жучка, сейчас, – ответил ей Тёма и принялся с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед Жучкой выполнять свой сон.

Прежде всего он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряжённым, как всегда.

Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты.

Тёма, наклонившись, стал вглядываться.

Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь всё глубже и глубже в охватившем его мраке, и наконец на трёхсаженной глубине осветил дно.

Тонкой глубокой щелью какой-то далёкой панорамы мягко сверкнула перед Тёмой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная, гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полусгнившего сруба.

Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далёкой, нежно светившейся страшной глади. Он точно почувствовал на себе её прикосновение и содрогнулся за свою Жучку. С замиранием сердца заметил он в углу чёрную шевелившуюся точку и едва узнал, вернее, угадал в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, весёлую Жучку, державшуюся теперь на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у Жучки силы дождаться, пока он всё приготовит, у Тёмы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он её бросил, Тёма во всё время приготовления кричал:

– Жучка, Жучка, я здесь!

И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец всё было готово. При помощи вожжей фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец.

Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско благодаря стремительности Жучки, испортившей всё.

Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что спустившийся снаряд имел целью её спасение, и поэтому, как только он достиг её, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого прикосновения было достаточно, чтобы

петля бесполезно соскочила, а Жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь.

Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ.

Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было ещё спасти и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимице, заставляет Тёму, не думая, благо план готов, решиться на выполнение второй части сна – самому спуститься в колодец.

Он привязывает вожжи к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. Он сознаёт только одно: что времени терять нельзя ни секунды.

Его обдаёт вонью и смрадом. На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки; это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя её, сначала пробует, потом твёрдо упирается и спускает следующую ногу.

Добравшись до того места, где застряли брошенные жердь и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь всё-таки даёт себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тёма начинает дышать ртом. Результат получается блестящий: вони нет, страх окончательно улетучивается.

Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и весёлым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию.

Это спокойствие и твёрдая уверенность Жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна. Между ним и Жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших уже больше свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит её; она лижет его пальцы, и так как опыт заставляет её быть благоразумной – она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма готов заплакать.

Не теряя времени, он, осторожно держась зубами за изгаженную вожжу, обвязывает свободным её концом Жучку, затем поспешно карабкается наверх.

Жучка, видя такую измену, подымает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тёму быстрее подниматься.

Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми лёгкими воздух колодца, рвётся вперёд, и чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы.

Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далёкое ясное небо,

видит где-то высоко над собою маленькую весёлую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжимается тоской; он чувствует, что не долезет.

Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать: кричать, плакать, звать маму? Чувство одиночества, бессилия, сознание гибели закрадываются в его душу…

– Не надо бояться, не надо бояться! – говорит он дрожащим от ужаса голосом. – Стыдно бояться! Трусы только боятся. Кто делает дурное – боится, а я дурного не делаю: я Жучку вытаскиваю, меня и папа и мама за это похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше, потом опять, опять отдохну и опять полезу, так и вылезу, потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет, все будут удивляться, как я её вытащил.

Тёма говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, твёрже, и, наконец успокоенный, он продолжает взбираться дальше.

Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе:

– Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже.

Тёма улыбается и снова спокойно ждёт прилива сил.

Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. Он делает последнее усилие, вылезает сам и вытаскивает Жучку.

Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его.

Почувствовав себя на твёрдой почве, Жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Тёмы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слишком мало для того, чтобы выразить всю её благодарность, – она кидается ещё и ещё. Она приходит в какое-то безумное неистовство.

Тёма бессильно, слабеющими руками отмахивается от неё, поворачивается к ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой, вонючей грязи.

Занятый одной мыслью – не испачкать об Жучку лицо, Тёма ничего не замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте.

Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то чёрная, страшная голова.

Напряжённые нервы Тёмы не выдерживают, он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву, к великой радости Жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий,

выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение.

Еремей (это был он), подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, увидев Тёму, сообразил, что надо спешить к нему на помощь.

Через час Тёма, лёжа на своей кроватке с ледяными компрессами на голове, пришёл в себя.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912)

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия – Мамин) родился в 1852 году в семье заводского священника. Получил домашнее образование, потом учился в Висимской школе для детей рабочих, после которой был принят в Екатеринбургское духовное училище. В 1868 году продолжил образование в Пермской духовной семинарии. В 1872 году Мамин-Сибиряк поступает в Петербургскую медико-хирургическую академию. Тогда же в петербургских журналах появляются первые рассказы и очерки молодого писателя. Но завершить обучение не получилось. Проучившись всего год, Мамин был вынужден оставить учёбу из-за материальных трудностей и резкого ухудшения здоровья.

В 1877 году писатель возвращается на Урал; в следующем году умирает отец, и на плечи Мамина-Сибиряка ложится забота о семье. Здесь он прожил 14 лет: помог матери вырастить младших сестёр и братьев, женился.

Для дочки Алёнушки написаны его детские рассказы.

Серая Шейка

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далёкий путь, и все имели такой серьёзный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч вёрст… Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, – вообще было о чём серьёзно подумать.

Серьёзные большие птицы, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уже

собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа…

Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

– И куда эта мелочь торопится! – ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. – В своё время все улетим… Не понимаю, о чём тут беспокоиться.

– Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, – объяснила его жена, старая Утка.

– Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась:

– Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, любо на них посмотреть. Живут душа в душу… Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да… А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом… Смотреть-то на тебя даже противно!

– Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки… Я не виноват, что гусь – глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще моё правило – не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живёт по-своему.

Селезень любил серьёзные рассуждения, причём оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умён и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

– Какой ты отец? – накинулась она на мужа. – Отцы заботятся о детях, а тебе – хоть трава не расти!..

– Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват…

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло ещё весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утёнка; но одно крылышко оказалось сломанным.

– Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, – повторяла Утка со слезами. – Все улетят, а она останется одна-одинёшенька. Да, совсем одна… Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мёрзнуть… Ведь она наша дочь, и как я её люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик,

останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе…

– А другие дети?

– Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил её, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замёрзнет, – жаль, конечно, а всё-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьёзно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере её материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, – ведь всё равно она должна погибнуть зимой.

II

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка ещё не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья и сестры так весело собираются к отлёту, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

– Ведь вы весной вернётесь? – спрашивала Серая Шейка у матери.

– Да, да, вернёмся, моя дорогая… И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

– Как-нибудь, милая, пробьёшься, – успокаивала старая Утка. – Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на тёплый ключ, что и зимой не замерзает, – совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда… Впрочем, что же и говорить-то попусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

– Я буду всё время думать о вас… – повторяла бедная Серая Шейка. Всё буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться весёлой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки… Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время… Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели берёзки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, – береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжёлыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелётной птицы… Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всех огорчал перелёт журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали её с собой. У неё ещё в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо», – думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлёту. Отдельные гнёзда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодёжь с весёлым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого перелёта. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости… Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для неё составляла всё.

– Нужно отправляться… пора! – говорили старики вожаки. – Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело… Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода ещё была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трёхсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь, – это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

– Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, – советовала она. – Там вода не замёрзнет целую зиму…

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая… Да, все были так заняты общим отлётом, что на неё никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось всё сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

– Ну, трогай! – громко скомандовал главный вожак, и стая

поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? – думала Серая Шейка, заливаясь слезами. – Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела…»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днём тонкий, как стекло, лёд таял.

«Неужели вся река замёрзнет?» – думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших братьев и сестёр. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про неё? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всём. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

– Ах, как ты меня напугала, глупая! – проговорил Заяц, немного успокоившись. – Душа в пятки ушла… И зачем ты толчёшься здесь? Ведь все утки давно улетели…

– Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я ещё была совсем маленькой…

– Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается… Ты берегись её, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает…

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

– Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмёшь и нырнёшь в воду, – говорил он. – А я постоянно дрожу со страху… У меня – кругом враги. Летом ещё можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё ещё не поддавалась холоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот[11], а на смерть. Всего опаснее были ясные, звёздные ночи, когда всё затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать её льдом сонную. Так и

случилось. Была тихая-тихая звёздная ночь. Тихо стоял тёмный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днём горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл её зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замёрзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, – это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

– А, старая знакомая, здравствуй! – ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. – Давненько не видались… Поздравляю с зимой.

– Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, – ответила Серая Шейка.

– Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят… Пока – до свидания!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

– Берегись, Серая Шейка: она опять придёт.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом неё чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного тёмного пятнышка. Даже голые берёзы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались ещё важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую тёплую шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для неё, и трепетала при одной мысли, что её полынья вот-вот замёрзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заго-ворила:

– Соскучилась я по тебе, уточка… Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива…

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лёд был ещё очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

– Какая ты глупая, уточка… Вылезай на лёд! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам…

Лиса начала приходить каждый день – проведать, не застыла

ли полынья. Наступившие морозы делали своё дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лёд был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

– Ничего, ныряй, а я тебя всё равно съем… Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

– Ах, какая бессовестная эта Лиса… Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест её Лиса…

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замёрзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логова покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а всё-таки весело.

– Братцы, берегитесь! – крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, тёплая старухе шуба будет», – соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

– Ах, лукавцы! – рассердился старичок. – Вот ужо я вас… Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мёрзнуть же ей… А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет… А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты, смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать…

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

– Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! – думал он вслух. – Ну, вот отдохну и пойду искать другую…

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползёт, – так и ползёт, точно кошка.

– Ге, ге, вот так штука! – обрадовался старичок. – К

старухиной-то шубе воротник сам ползёт… Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить…

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

«Надо так её застрелять, чтобы воротника не испортить, – соображал старик, прицеливаясь в Лису. – А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырьях окажется… Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьёшь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, – и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развёл руками, – воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

– Вот так штука! – ахнул старичок, разводя руками. – В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитёр зверь.

– Дедушка, Лиса убежала, – объяснила Серая Шейка.

– Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе… Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел… А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

– А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено…

– Ах, глупая, глупая… Да ведь ты замёрзнешь тут или Лиса тебя съест! Да…

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

– А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются… А весной ты старухе яичек нанесёшь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая…

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу, – соображал он, направляясь домой. – Пусть её шуба с воротником вместе ещё погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются…»

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замёрзнет.

Владимир Фёдорович Одоевский (1803–1869)

Владимир Фёдорович Одоевский принадлежал к старинному княжескому роду (отец вёл свою родословную от легендарного варяга Рюрика). Род Одоевских обеднел к моменту его рождения, а отец его умер, когда мальчику не было и пяти лет. В 1816 году Одоевский поступает в Московский университетский благородный пансион, дававший глубокое и всестороннее

образование. Печататься Одоевский начинает уже в годы учёбы.

Окончив пансион с золотой медалью, молодой человек погрузился в науки, в литературные и философские занятия. Он изучает анатомию, физику, химию, технику. Одоевский вместе с Кюхельбекером начинают издавать альманах «Мнемозина», в котором печатаются Пушкин, Грибоедов, Баратынский, Вяземский. Издание это прекращает своё существование после восстания декабристов.

Все последующие десятилетия имя его широко известно. Он активно участвует в научной и литературной жизни. Пушкин приглашает его участвовать в издании задуманного им журнала «Современник». В литературном салоне Одоевского собираются выдающиеся писатели (Пушкин, Крылов, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Тургенев, Достоевский, Островский, Гончаров), музыканты (Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Рубинштейн), издатели, учёные, путешествен-ники.

Он стал также одним из основателей Общества посещения бедных и в течение нескольких десятилетий занимался развитием российской благотворительности.

Мороз Иванович

Нам даром, без труда ничего не достаётся, —
Недаром исстари пословица ведётся.

В одном доме жили две девочки: Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка, рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодезь за водой ходила. А Ленивица между тем в постельке лежала; уж давно к обедне звонят, а она ещё всё потягивается: с боку на бок переваливается; уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки»; а потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать, сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку – да спать не хочется; ей бы покушать – да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать – да и то надоело; сидит горемычная и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты.

Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в

кувшины нальёт; да ещё какая затейница: коли вода нечиста, так свернёт лист бумаги, наложит в неё угольков да песку крупного насыпет, вставит ту бумагу в кувшин да нальёт в неё воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить да ещё рукодельную песенку затянет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, тут, смотришь, и вечер, – день прошёл.

Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодезь за водой, опустила ведро на верёвке, а верёвка-то и оборвись, упало ведро в колодезь. Как тут быть? Расплакалась бедная Рукодельница да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье, а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:

– Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведёрко утопила, сама и доставай.

Нечего делать было; пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за верёвку и спустилась по ней к самому дну.

Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась – смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмёт, тот со мной и пойдёт.

Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху.

Идёт она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:

– Мы, яблочки, наливные, созрелые, корнем дерева питалися, студёной водой обмывалися; кто нас с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.

Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.

Рукодельница идёт дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнёт головой – от волос иней сыплется, духом дохнёт – валит густой пар.

– А! – сказал он, – здоро́во, Рукодельница; спасибо, что ты мне пирожок принесла: давным-давно уж я ничего горяченького не ел.

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.

– Знаю я, зачем ты пришла, – говорил Мороз Иванович, – ты

ведёрко в мой студенец опустила; отдать тебе ведёрко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе ж лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, – прибавил Мороз Иванович, – мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину.

Рукодельница послушалась… Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звёздочками; солнышко на них сияло, и всё в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а меж тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби бельё полощут; и холодно, и ветер в лицо, и бельё замерзает, колом стоит, а делать нечего – работают бедные люди.

– Ничего, – сказал Мороз Иванович, – только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.

Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зелёная травка. Рукодельнице стало жаль бедной травки.

– Вот ты говоришь, – сказала она, – что ты старик добрый, а зачем ты зелёную травку под снежной периной держишь, на свет божий не выпускаешь?

– Не выпускаю, потому что ещё не время; ещё трава в силу не вошла. Добрый мужичок её осенью посеял, она и взошла, и кабы вытянулась уже, то зима бы её захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я, – продолжал Мороз Иванович, – и прикрыл молодую зелень моею снежною периной, да ещё сам прилёг на неё, чтобы снег ветром не разнесло, а вот придёт весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно мужик соберёт да на мельницу отвезёт; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечёшь.

– Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, – сказала Рукодельница, – зачем ты в колодце-то сидишь?

– Я затем в колодце сижу, что весна подходит, – сказал Мороз Иванович. – Мне жарко становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, от того и вода в колодце студёная, хоть посреди самого жаркого лета.

– А зачем ты, Мороз Иванович, – спросила Рукодельница, – зимой по улицам ходишь да в окошки стучишься?

– А я затем в окошки стучусь, – отвечал Мороз Иванович, –

чтоб не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда ещё не все угольки прогорели, а оттого в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от угара можно. А затем ещё я в окошко стучусь, чтоб никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что; вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали.

Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке да и лёг почивать на свою снежную постель.

Рукодельница меж тем всё в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила, бельё выштопала.

Старичок проснулся; был всем очень доволен и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; стол был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил.

Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целые три дня.

На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:

– Спасибо тебе, умная ты девочка; хорошо ты меня, старика, утешила, но я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твоё ведёрко, а в ведёрко я всыпал целую горсть серебряных пятачков; да сверх того, вот тебе на память бриллиантик – косыночку закалывать.

Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведёрко, пошла опять к колодцу, ухватилась за верёвку и вышла на свет божий.

Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел её, обрадовался, взлетел на забор и закричал:

Кукуреку, кукурекú!
У Рукодельницы в ведёрке пятаки!

Когда Рукодельница пришла домой и рассказала всё, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:

– Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают. Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай: в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да бельё штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало.

Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось и бриллиантовую булавочку тоже.

Вот, по примеру Рукодельницы, Ленивица пошла к колодцу, схватилась за верёвку, да и бух прямо ко дну.

Смотрит: и перед ней печка, а в печке сидит пирожок такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня возьмёт, тот со мной и пойдёт!

А Ленивица ему в ответ:

– Да, как же не так! Мне себя утомлять, лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.

Идёт она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят да промеж себя говорят:

– Мы, яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питаемся, студёной росой обмываемся; кто нас с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.

– Да, как бы не так! – отвечала Ленивица. – Мне себя утомлять, ручки подымать, за сучья тянуть, успею набрать, как сами попадают!

И прошла Ленивица мимо их. Вот дошла она до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки покусывал.

– Что тебе надобно, девочка? – спросил он.

– Пришла я к тебе, – отвечала Ленивица, – послужить да за работу получить.

– Дельно ты сказала, девочка, – отвечал старик, – за работу деньга следует; только посмотрим – какова ещё твоя работа будет. Поди-ка взбей мою перину, а потом кушанье изготовь, да платье моё повычини, да бельё повыштопай.

Пошла Ленивица, а дорогой думает:

«Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснёт».

Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лёг в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню.

Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей и в голову не приходило; да и лень было ей посмотреть.

Вот она огляделась: лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас – всё по порядку. Вот она думала, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала, да чтоб большого труда себе не давать, то, как всё было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да ещё квасу подлила, а сама думает: «Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке всё вместе будет».

Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатертцы не подостлала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.

– Хорошо ты готовишь, – заметил он, улыбаясь. – Посмотрим, какова твоя другая работа будет.

Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик покряхтел, покряхтел, да принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.

После обеда старик опять лёг отдохнуть, да припомнил Ленивице, что у него платье не починено да и бельё не выштопано.

Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и бельё разбирать; да и тут беда: платье и бельё Ленивица на́шивала, а как его шьют, о том и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так её и бросила.

А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал да ещё спать её уложил.

А Ленивице-то и любо; думает себе:

«Авось и так пройдёт. Вольно было сестрице на себя труд принимать: старик добрый, он мне и так задаром пятачков подарит».

На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича её домой отпустить да за работу наградить.

– Да какая же была твоя работа? – спросил старичок. – Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.

– Да как же! – отвечала Ленивица. – Я ведь у тебя целые три дня жила.

– Знаешь, голубушка, – отвечал старичок, – что я тебе скажу: жить и служить – разница, да и работа работе розь. Заметь это: вперёд пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

С сими словами Мороз Иванович дал Ленивице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку пребольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала.

Пришла домой и хвастается:

– Вот, – говорит, – что я заработала: не сестре чета, не горсточку пятачков да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный, вишь какой тяжёлый, да и бриллиант-то чуть не с кулак… Уж на это можно к празднику обнову купить…

Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и

полился на пол; он был не иное что, как ртуть, которая застыла от сильного холода; в то же время начал таять и бриллиант, а петух вскочил на забор и громко закричал:

Кукуреку, кукурекýлька!
У Ленивицы в руках ледяная сосулька.

А вы, детушки, думайте, гадайте: что здесь правда, что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что шутки ради, что в наставленье, а что намёком…

Лев Николаевич Толстой (1828–1910)

Лев Николаевич Толстой родился в усадьбе Ясная Поляна. Среди предков писателя – сподвижник Петра I – П.А. Толстой, одним из первых в России получивший графский титул. По матери Толстой был родственником А.С. Пушкина.

Он рано осиротел, потеряв сначала мать, а затем и отца. С сестрой и тремя братьями юный Толстой переезжает в Казань. Здесь жила одна из отцовских сестёр, ставшая их опекуншей.

В Казани учился сначала на восточном, а затем на юридическом факультете. Изучал турецкий и татарский языки, в зрелую пору жизни свободно владел английским, французским и немецким языками; читал на итальянском, польском, чешском и сербском; знал греческий, латинский, украинский, татарский, церковнославянский; изучал древнееврейский, турецкий, голландский, болгарский и другие языки.

Скучные университетские занятия тяготили Толстого-студента. Он увлёкся самостоятельной работой и, оставив университет, уехал из Казани в Ясную Поляну, затем он отправился в Москву, где и началась его писательская деятельность.

Толстой участвовал в Крымской войне, за отвагу был награждён орденом Анны и медалями «За защиту Севастополя» и «В память войны 1853–1856 гг.».

Осенью 1856 года вышел в отставку и вскоре отправился в полугодичное заграничное путешествие, посетив Францию, Швейцарию, Италию и Германию. В 1859 году Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, а затем помог открыть более 20 школ в окрестных деревнях. Толстой специально ездил в Европу смотреть школы, перенимать опыт. В год отмены крепостного права писатель вступил в должность мирового посредника и активно защищал права крестьян.

Белка и волк (Басня)

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел её съесть. Белка стала просить:

– Пусти меня.

Волк сказал:

– Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там вверху всё играете и прыгаете.

Белка сказала:

– Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя.

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:

– Тебе скучно оттого, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем.

Комар и лев (Басня)

Комар прилетел ко льву и говорит: «Ты думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы не так! Какая в тебе сила? Что царапаешь когтями и грызёшь зубами – это и бабы так-то с мужиками дерутся. Я сильнее тебя; хочешь, выходи на войну!» И комар затрубил и стал кусать льва в голые щёки и нос. Лев стал бить себя по лицу и драть когтями; изодрал себе в кровь всё лицо и из сил вы-бился.

Комар затрубил с радости и улетел. Потом запутался в паутину к пауку, и стал паук его сосать. Комар и говорит: «Сильного зверя, льва, одолел, а вот от дрянного паука погибаю».

Какая бывает роса на траве

Когда в солнечное утро летом пойдёшь в лес, то на полях, в траве, видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами – и жёлтым, и красным, и синим. Когда подойдёшь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце.

Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат.

И капли катаются по листку и не мочат его.

Когда неосторожно сорвёшь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнёт мимо стебля. Бывало, сорвёшь такую чашечку, потихоньку поднесёшь ко рту и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее

всякого напитка кажется.

Как вор сам себя выдал

Один вор залез ночью к купцу на чердак. Он отобрал шубы, полотна и хотел слезать, да споткнулся на перемёт[12] и загремел. Купец услыхал, что что-то зашумело над головой, разбудил работника и пошёл со свечой на чердак. Работник разоспался и говорит купцу: «Что смотреть, никого нет, нешто кошка?» Но купец всё-таки пошёл на чердак. Как только вор услыхал, что идёт кто-то, он положил шубы и полотна на прежнее место и стал искать места, куда бы спрятаться. Увидал он: большая куча чего-то. А это была куча табаку листового. Вор раскопал табак, влез в середину и прикрылся табаком. И слышит вор, что вошли двое – входят и говорят. Купец говорит: «Я слышал, что-то тяжёлое загремело». А работник говорит: «Чему греметь, либо кошка, либо домовой». Купец прошёл мимо табаку, ничего не заметил и говорит: «И то, видно, показалось: никого нет; ну, пойдём». И слышит вор, что они уходят, и думает: «Теперь всё опять соберу и вылезу в окно». Только вдруг чувствует вор, что ему в носу защекотало от табаку и чихнуть хочется. Зажал он рот рукой, ещё больше щекочет, и не может держаться, чтобы не чихнуть. Купец с работником уже стали выходить. Слышат – в углу кто-то чихает. «Чих, чих! а чих!» Вернулись и поймали вора.

Два брата (Сказка)

В одном селе жили два брата; землю пахали, хлеб сеяли. У старшего брата детей не было; у младшего брата было четверо маленьких детей. Жили братья так дружно, что любо было на них смотреть.

Одною осенью поспел у них хлеб, они убрали и поделили поровну зёрна.

Пришла ночь. Лёг старший брат; не спится ему. Он думал: «Хорошо ли мы хлеб поделили? У брата семья большая, ему на детей хлеба много надо. Пойду и подложу ему своих зёрен». Так и сделал.

Не спалось ночью и младшему брату. Он думал: «Хорошо ли мы с братом хлеб поделили? Мы-то с женой молодые; дети нам на помощь растут; а брат с женой одинокие, постарше нас. Надо ему хлеба от себя прибавить». Задумал и сделал.

Днём смотрят братья: зерна не убыло. Подивились, но друг другу ничего не сказали.

И так несколько ночей братья друг другу хлеб перекладывали, пока один другого на месте не застал.

С тех пор ещё крепче стала любовь между братьями. И прожили они счастливо до глубокой старости.

Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870)

Константин Дмитриевич Ушинский родился в Туле в семье отставного офицера, участника Отечественной войны 1812 года, мелкопоместного дворянина. Мать Константина Дмитриевича умерла, когда ему было 12 лет.

После окончания гимназии он поступил учиться на юридический факультет Московского университета. Помимо философии и юриспруденции Ушинский интересовался и литературой, и театром, а также идеями распространения грамотности и образованности среди простого народа. После блестящей защиты учёный совет Московского университета присудил Константину Ушинскому степень кандидата юриспруденции, а в 1846 году он был назначен исполняющим обязанности профессора в ярославском Демидовском лицее. Конфликты с начальством лицея, доносы вышестоящему начальству на Ушинского со стороны руководства лицея привели к негласному надзору за ним и отставке.

Ушинский переехал в Санкт-Петербург, где устроился преподавателем русской словесности в Гатчинский Сиротский институт, который находился под покровительством императрицы. Порядки в заведении были строгие: за малейшую провинность воспитанника могли посадить под арест в карцер, прогулки за стенами института разрешались только по субботам и воскресеньям. Ушинскому удалось изменить старые и внедрить новые прогрессивные порядки и традиции в институте. Чувство настоящего товарищества К.Д. Ушинский считал основой воспитания.

В 1862 году Ушинский был направлен на пять лет за границу для лечения и изучения школьного дела. За это время Ушинский посетил Швейцарию, Германию, Францию, Бельгию и Италию, в которых он посещал и изучал учебные заведения – женские школы, детские сады, приюты и школы, особенно в Германии и Швейцарии, считавшиеся самыми передовыми в части новаций в педагогике. Свои заметки, наблюдения и письма этого периода он объединил в статье «Педагогическая поездка по Швейцарии».

Как рубашка в поле выросла

I

Видела Таня, как отец её горстями разбрасывал по полю маленькие блестящие зёрна, и спрашивает:

– Что ты, тятя, делаешь?

– А вот сею ленок, дочка: вырастет рубашка тебе и Васютке.

Задумалась Таня: никогда она не видала, чтобы рубашки в поле росли.

Недели через две покрылась полоска зелёною шелковистою травкой, и подумала Таня: «Хорошо, если бы у меня была такая рубашечка!» Раза два мать и сёстры Тани приходили полоску полоть и всякий раз говорили девочке: «Славная у тебя рубашечка будет!» Прошло ещё несколько недель; травка на полоске поднялась, и на ней показались голубые цветочки. «У братца Васи такие глазки, – подумала Таня, – но рубашечек таких я ни на ком не видала».

Когда цветочки опали, то на место их показались зелёные головки. Когда головки забурели и подсохли, мать и сёстры Тани повыдергали весь лён с корнем, навязали снопиков и поставили их на поле просохнуть.

II

Когда лён просох, то стали у него головки отрезывать; а потом потопили в речке безголовые пучки и ещё камнем сверху навалили, чтобы не всплыл.

Печально смотрела Таня, как её рубашечку топят; сёстры тут ей опять сказали: «Славная у тебя, Таня, рубашка будет!»

Недели через две вынули лён из речки, просушили и стали колотить сначала доской на гумне, потом трепалом[13] на дворе, так что от бедного льна летела кострика[14] во все стороны. Вытрепавши, стали лён чесать железным гребнем, пока он сделался мягким и шелковистым. «Славная у тебя рубашка будет!» – опять сказали Тане сёстры. Но Таня подумала: «Где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а не на рубашку».

III

Настали длинные зимние вечера. Сёстры Тани надели лён на гребни и стали из него нитки прясть. «Это нитки! – думает Таня. – А где же рубашечка?»

Прошла зима, весна и лето, – настала осень. Отец установил в

избе кросна, натянул из них основу и начал ткать. Забегал проворно челночок между нитками, и тут уже Таня сама увидала, как из ниток выходит холст.

Когда холст был готов, стали его на морозе морозить, по снегу расстилать; а весной расстилали его по траве на солнышке и взбрызгивали водой. Сделался холст из серого белым, как кипень[15].

Настала опять зима. Накроила из холста мать рубашек; принялись сёстры рубашки шить и к Рождеству надели на Таню и Васю новые, белые, как снег, рубашечки.

На поле летом

Весело на поле, привольно на широком! До синей полосы далёкого леса точно бегут по холмам разноцветные нивы. Волнуется золотистая рожь; вдыхает она крепительный воздух. Синеет молодой овёс; белеет цветущая гречиха с красными стебельками, с бело-розовыми, медовыми цветочками. Подальше от дороги запрятался кудрявый горох, а за ним бледно-зелёная полоска льна с голубоватыми глазками. На другой стороне дороги чернеют поля под струящимся паром.

Жаворонок трепещется над рожью, а острокрылый орёл зорко смотрит с вышины: видит он и крикливую перепёлку в густой ржи, видит он и полевую мышку, как она спешит в свою нору с зёрнышком, упавшим из спелого колоса. Повсюду трещат сотни невидимых кузнечиков.

Антон Павлович Чехов (1860–1904)

Антон Павлович Чехов родился в г. Таганроге в январе 1860 году. Все братья и сёстры Чехова были исключительно одарёнными, высокообразованными людьми. Отец – Павел Егорович Чехов был весьма интересной личностью. Он имел в Таганроге бакалейную лавку, но занимался торговлей без особого рвения, больше уделяя внимание посещению церковных служб, пению и общественным делам. Дети воспитывались в строгости, часто применялись и телесные наказания, бездельничать никому не дозволялось. Помимо учёбы в гимназии, сыновьям Павла Егоровича приходилось иногда замещать отца в лавке, конечно, в ущерб занятиям. По вечерам пели хором. Отец прекрасно играл на скрипке, пел.

Мать Чехова в ранней молодости была отдана в таганрогский частный пансион благородных девиц, где обучалась танцам и хорошим манерам, очень любила театр. Антон Павлович Чехов

впоследствии говорил, что «талант в нас со стороны отца, а душа – со стороны матери».

В 1876 году семья переезжает в Москву. В 1879 году Чехов поступает на медицинский факультет Московского университета.

В 1880 году в журнале «Стрекоза» появляется его первое печатное произведение. С этого времени начинается непрерывная литературная деятельность Антона Павловича Чехова.

В поисках новых впечатлений в 1890 году Чехов отправляется в Сибирь, чтобы затем посетить остров Сахалин. Дорога оказалась очень длиной: из Ярославля по Волге до Казани, затем по Каме до Перми, оттуда по железной дороге до Тюмени, а затем через всю Сибирь на тарантасе и по рекам. На Сахалине Чехов пробыл более трёх месяцев, затем через Индийский океан, Средиземное и Чёрное моря, посетив Японию, Гонконг, Сингапур, Цейлон, Константинополь, прибыв в порт Одессы, он на поезде возвращается в Москву.

Жизнь в Москве после такого путешествия кажется Чехову неинтересной, и он отправляется в Петербург, а затем уезжает в Западную Европу. В 1892 году Чехов покупает имение в селе Мелихово Серпуховского уезда Московской губернии. Давняя мечта жить в деревне, быть землевладельцем осуществилась. В Мелихове Чехову приходит идея создания общественной библиотеки в родном Таганроге. Писатель жертвует туда более двух тысяч томов собственных книг. Впоследствии Чехов постоянно отсылает в библиотеку закупаемые им книги, причём в больших количествах.

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене[16], он

достал из хозяйского шкафа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на тёмный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьёй на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижный старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку[17]. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелёк Вьюн, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается… ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплёскивает руками, пожимается от холода…

– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит:

– Отдирай, примёрзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с её белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребрённые инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом…

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать: «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем[18] за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А еды нету никакой.

Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нет никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру…»

Ванька покривил рот, потёр своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молиться, а если что, то секи меня как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить или заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видел в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное… А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут: которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц… Дед не может, чтоб не крикнуть:

– Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную ёлку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать её. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна

кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину…

«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька. – Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется, а скука такая, что сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А ещё кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: «На деревню дедушке».

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу…

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель…

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом.

Поэзия

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)

Василий Андреевич Жуковский родился в Тульской губернии.

Из тульского пансиона был отчислен за неуспеваемость. Но в 1797 году 14-летний Жуковский поступил в московский благородный университетский пансион, который окончил с серебряной медалью.

В 1812 году Жуковский вступил в московское ополчение и участвовал в боях. В конце 1812 года Жуковский получает награду за Бородино – боевой орден Св. Анны 2-й степени. В это же время он публикует поэму «Певец во стане русских воинов», которая прославила имя Жуковского по всей России больше, чем все его предыдущие труды.

В июле 1824 года Жуковский назначается воспитателем 6-летнего наследника российского престола, великого князя Александра Николаевича. Жуковский был прекрасным преподавателем и воспитателем. В дальнейшем он много раз, навлекая неудовольствие Николая I, через молодого наследника Александра добивался улучшения тяжёлого положения декабристов, сосланных в Сибирь.

По просьбе семьи Гончаровых пытался не допустить дуэли между Пушкиным и Дантесом. Вечером 27 января 1837 года Жуковский получает известие о дуэли и смертельном ранении Пушкина и до кончины поэта почти неотлучно находится в его квартире. После смерти Пушкина становится опекуном детей поэта и, по словам современников, «ангелом-хранителем» семьи.

Мальчик с пальчик

Жил маленький мальчик:
Был ростом он с пальчик,
Лицом был красавчик,
Как искры глазёнки,
Как пух волосёнки.
Он жил меж цветочков;
В тени их листочков
В жары отдыхал он;
И ночью там спал он;
С зарёй просыпался,
Живой умывался

Росой, наряжался
В листочек атласный
Лилеи прекрасной;
Проворную пчёлку
В свою одноколку
Из лёгкой скорлупки
Потом запрягал он,
И с пчёлкой летал он,
И жадные губки
С ней вместе впивал он
В цветы луговые.
К нему золотые
Цикады слетались
И с ним забавлялись,
Кружась с мотыльками,
Жужжа, и порхая,
И ярко сверкая
На солнце крылами;
Ночною ж порою,
Земля покрывалась
И в небе с луною
Одна за другою
Звезда зажигалась,
На луг благовонный
С лампадой зажжённой
Лазурно-блестящий
К малютке являлся
Светляк, и сбирался
К нему вкруговую
На пляску ночную
Рой эльфов летучий;
Они – как бегучий
Источник волнами —
Шумели крылами,
Свивались, сплетались,
Проворно качались
На тонких былинках,
В перловых купались
На травке росинках,
Как искры сверкали
И шумно плясали
Пред ним до полночи.
Когда же на очи
Ему усыпленье

Под пляску, под пенье
Сходило – смолкали
И вмиг исчезали
Плясуньи ночные;
Тогда под живые
Цветы угнездившись
И в сон погрузившись,
Он спал под защитой
Их кровли, омытой
Росой, до восхода
Зари лучезарной
С границы янтарной
Небесного свода.
Так милый красавчик
Жил мальчик наш с пальчик…

Иван Андреевич Крылов (1769–1844)

Иван Андреевич Крылов родился 13 февраля 1769 года в Москве в семье бедного армейского капитана. По долгу службы семья часто меняла место своего жительства. Вскоре после рождения сына семья переехала в Оренбург. А когда отец вышел в отставку, семья поселилась в Твери. Грамоте выучился дома, французским языком занимался в семействе состоятельных соседей. Отец очень рано умер. Мать с двумя маленькими детьми осталась без средств к существованию. Крылову с десяти лет приходится работать – его определяют переписчиком казённых бумаг. Став постарше, он любит бродить по торговым площадям, любит кулачные бои, народные забавы. Народная речь, пересыпанная прибаутками, ему особенно нравится, легко и надолго запоминается.

Когда положение становится совсем тяжёлым, семья принимает решение ехать в Петербург, хлопотать о пенсии. Здесь Крылов устраивается на работу мелким чиновником и продолжает заниматься самообразованием: он учит итальянский, английский, древнегреческий языки, играет на скрипке.

Уже в это время Крылов начинает сочинять. Правда, первые произведения для большой публики прошли совершенно незамеченными. В 1801 году в Петербурге впервые была поставлена на сцене пьеса Крылова «Пирог», которая имела успех. В это же время появляются первые переводы басен Лафонтена. В 1809 году вышел в свет первый сборник басен Крылова, принёсший ему известность. Язык его басен был таким ярким и

остроумным, что многие строки стали поговорками. С этого времени жизнь его – ряд непрерывных успехов и почестей. 16 декабря 1811 года он избран членом Российской Академии. В 1812 году Крылов стал библиотекарем только что открывшейся Публичной библиотеки, где прослужил 30 лет, выйдя в отставку в 1841 году. Крылов оказался очень хорошим собирателем книг и был окружён всеобщим почитанием.

Чиж и голубь

Чижа захлопнула злодейка-западня;
Бедняжка в ней и рвался, и метался,
А Голубь молодой над ним же издевался.
«Не стыдно ль, – говорит, – средь бела дня
Попался!
Не провели бы так меня:
За это я ручаюсь смело».
Ан смотришь, тут же сам запутался в силок.
И дело!
Вперёд чужой беде не смейся, Голубок.

Кукушка и Петух

«Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!» —
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всём лесу у нас такой певицы нет!» —
«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова». —
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь,
Чтоб начала ты снова…
Отколь такой берётся голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою не велички,
А песни, что твой соловей!» —
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поёшь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я».

Тут Воробей, случась, примолвил
им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, —

Всё ваша музыка плоха!..»

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

Волк и журавль

Что волки жадны, всякий знает:
Волк, евши, никогда
Костей не разбирает.
За то на одного из них пришла беда:
Он костью чуть не подавился.
Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть;
Пришло хоть ноги протянуть!
По счастью, близко тут Журавль случился.
Вот, кой-как знаками стал Волк его манить
И просит горю пособить.
Журавль свой нос по шею
Засунул к Волку в пасть и с трудностью большею
Кость вытащил и стал за труд просить.
«Ты шутишь! – зверь вскричал коварный: —
Тебе за труд? Ах, ты, неблагодарный!
А это ничего, что свой ты долгий нос
И с глупой головой из горла цел унёс!
Поди ж, приятель, убирайся,
Да берегись: вперед ты мне не попадайся».

Квартет

Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, —
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. – Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.

Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдёт уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он всё-таки на лад нейдёт.
«Постойте ж, я сыскал секрет, —
Кричит Осёл. – Мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А всё-таки Квартет нейдёт на лад.
Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:
«Пожалуй, – говорят, – возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» —
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —
Им отвечает Соловей. —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».

Лиса и Виноград

Голодная кума-Лиса залезла в сад;
В нём винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдёт,
Хоть видит око,
Да зуб неймёт.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен – ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьёшь[19]».

Волк и ягнёнок

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим.
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в баснях говорят.
Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягнёнка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питьё
Моё
С песком и илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».
– «Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».
– «Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!»
– «Помилуйте, мне ещё и от роду нет году», —
Ягнёнок говорит. «Так это был твой брат».
– «Нет братьев у меня». – «Так это кум иль сват,
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите;
Но я с тобой за их разделаюсь грехи».
– «Ах, я в чём виноват?» —
«Молчи! Устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве. Мама умерла очень рано. Воспитанием мальчика занималась бабушка – Елизавета Алексеевна Арсеньева. Бабушка души не чаяла во внуке: старалась дать ему всё самое лучшее, для укрепления здоровья возила на Кавказ. Но всё равно мальчик чувствовал себя очень одиноким.

В 1827 году Лермонтов вместе с бабушкой едет в Москву, где поступает в пансион. Тогда же он пишет свои первые стихи. Спустя три года Лермонтов поступает в Московский университет, однако закончить обучение не получилось – профессоры, помня его дерзкие выходки во время учёбы, срезали его на публичных экзаменах, а остаться на второй год Лермонтов не захотел.

Как вспоминали современники, Лермонтов был очень вспыльчивым и закрытым человеком, он нередко становился участником дуэлей и скандалов.

В Петербургский университет Лермонтов не попал: ему не зачли двухлетнего пребывания в Москве и предложили поступать на первый курс. По совету друзей он решил поступить в школу гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, куда и был зачислен в звании унтер-офицера.

Смерть Пушкина глубоко потрясла Лермонтова – он пишет стихотворение «На смерть поэта». Стихотворение мгновенно разошлось по Петербургу. После чего следуют арест и ссылка на Кавказ.

Вернувшись, Лермонтов участвует в дуэли с сыном французского посланника. После чего опять следуют арест и ссылка. В сражениях Лермонтов отличался доблестью и отвагой. Он был представлен к награде и помилован.

Осень

Листья в поле пожелтели,
И кружатся, и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою
Уж не любит меж цветов
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
Зверь отважный поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл и поле
Сквозь туман лишь серебрит.

«На севере диком стоит одиноко…»

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
Прекрасная пальма растёт.

Тучи

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Аполлон Николаевич Майков (1821–1897)

Родился в Москве, в семье из старинного дворянского рода. Его отец был известным художником. Детские годы прошли в московском доме и подмосковном имении, которые часто посещали художники и литераторы. Писать стихи Аполлон Майков начал с пятнадцати лет, но в выборе призвания долго колебался между живописью и поэзией.

С 1834 году семья переселяется в Петербург. Майков учится на юридическом факультете Петербургского университета, но не оставляет и литературных занятий. После окончания университета служит в Министерстве финансов. Но в 1842 году отправляется в путешествие за границу: он едет в Италию, Париж, Дрезден, Прагу.

В 1844 году Аполлон Майков возвращается в Россию. Сначала

работает помощником библиотекаря при Румянцевском музее, затем переходит в петербургский комитет иностранной цензуры.

Его первый поэтический сборник вышел в 1842 году и имел большой успех. В эти годы Майков тесно общается с Белинским, Тургеневым и Некрасовым, поддерживает близкое знакомство с Ф. Достоевским и А. Плещеевым. Увлечённый эпохой Древней Руси и славянским фольклором, Аполлон Майков в 1889 году закончил один из лучших переводов «Слова о полку Игореве». Многие стихи Майкова положены на музыку.

Осень

Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.

С холоду щёки горят:
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!

Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлёк:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;

Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей;

Долго на листьях лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
Ясность прозрачных небес.

Николай Алексеевич Некрасов (1821–1877)

Некрасов родился на Украине. Мальчику не было и трёх лет, когда его отец перевёз семью в деревню Грешнево Ярославской губернии. В 10 лет Некрасов поступил в ярославскую гимназию, где дошёл до 5-го класса. Учился он плохо, занятия большей

частью прогуливал вместе со старшим братом Андреем. Отец всегда мечтал о военной карьере для сына, и 16-летний Некрасов отправился в Петербург для определения в дворянский полк.

Однако в Петербурге встреча с гимназическим товарищем и знакомство с другими студентами возбудили в юном Некрасове такую жажду учиться, что он отказывается от военной службы и начинает готовиться к вступительному экзамену в Петербургский университет. Отец отказывается помогать сыну. Некрасов учится на филологическом факультете, терпит страшную нужду, не каждый день имеет возможность обедать. Он берётся за любую работу: он даёт уроки, пишет статьи в газеты, сочиняет сказки в стихах.

Скоро Некрасов публикует свои первые произведения. А через некоторое время он выкупил и возглавил журнал «Современник», который считался лучшим и наиболее распространённым из журналов того времени.

В начале 1875 года Некрасов тяжело заболел. Со всех концов России посыпались письма, телеграммы, приветствия. Они подбадривали и поддерживали больного в его мучениях.

«Славная осень! Здоровый, ядрёный…» (отрывок из стихотворения «Железная дорога»)

Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор!
Листья поблёкнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр…
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни…

Мужичок с ноготок (отрывок из стихотворения «Крестьянские дети»)

Однажды, в студёную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,

Лошадку ведёт под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах… а сам с ноготок!
– Здорово, парнище! – «Ступай себе мимо!»
– Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки? – «Из лесу, вестимо,
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.)
– А что, у отца-то большая семья? —
«Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я…»
– Так вон оно что! А как звать тебя? —
«Власом».
– А кой тебе годик? – «Шестой миновал…
Ну, мёртвая!» – крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрей зашагал…

«Зелёный шум…» (в сокращении)

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Играючи, расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнёт кусты ольховые,
Поднимет пыль цветочную,
Как облако: всё зелено,
И воздух и вода!

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса.

А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая берёзонька

С зелёною косой!

Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клён…
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…
Идёт-гудёт Зелёный Шум.
Зелёный Шум, весенний шум!

Иван Саввич Никитин (1824–1861)

Иван Саввич Никитин Родился в Воронеже в мещанской семье. Учился в духовном училище и семинарии, где у него пробудился интерес к литературе, в это же время начинает писать первые стихи. Отец, в начале довольно состоятельный торговец, рассчитывал послать сына в университет, но дела его расстроились, и Никитин вынужден был помогать отцу.

В 1844 году отец Никитина купил на улице Кирочной постоялый двор и поселился с сыном здесь. Однако пьянство и буйный характер отца привели семью к разорению, вынудившему Никитина стать содержателем постоялого двора.

Иван Никитин занимался самообразованием, изучая французский и немецкий языки, а также произведения русских и зарубежных писателей (Шекспир, Гюго, Гёте, Шиллер, Гейне и др.). После успеха своего второго сборника открыл книжный магазин с библиотекой, который стал важным центром литературной и общественной жизни Воронежа. Но жизненные силы были на исходе, Никитин заболел чахоткой и в возрасте 37 лет скончался.

«Весело сияет…» (отрывок из стихотворения «Зимняя ночь в деревне»)

Весело сияет
Месяц над селом;
Белый снег сверкает
Синим огоньком.

Месяца лучами
Божий храм облит;
Крест под облаками,
Как свеча, горит.

Пусто, одиноко
Сонное село;
Вьюгами глубоко
Избы занесло.

Тишина немая
В улицах пустых,
И не слышно лая
Псов сторожевых…

«Тихо ночь ложится…»

Тихо ночь ложится
На вершины гор,
И луна глядится
В зеркала озёр;

Над глухою степью
В неизвестный путь
Бесконечной цепью
Облака плывут;

Над рекой широкой,
Сумраком покрыт,
В тишине глубокой
Лес густой стоит;

Светлые заливы
В камышах блестят,
Неподвижно нивы
На полях стоят;

Небо голубое
Весело глядит,
И село большое
Беззаботно спит.

Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893)

Алексей Плещеев родился в Костроме в обедневшей дворянской семье, принадлежавшей к старинному роду. Детские годы прошли в Нижнем Новгороде, где служил отец. До

тринадцати лет мальчик учился дома и получил хорошее образование, овладев тремя языками.

В 1839 году вместе с матерью переселяется в Петербург, учится в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, затем в Петербургском университете.

В 1844 году в «Современнике» появились первые стихотворения.

В 1849 году по доносу поэт был арестован и провёл восемь месяцев в Петропавловской крепости, после был приговорён к смертной казни, однако по указу Николая I сначала был приговорён к каторге с лишением «всех прав состояния» и затем переведён рядовым в Уральск. В 1853 году по собственной просьбе принял участие в штурме крепости Ак-Мечеть, за храбрость был произведён в унтер-офицеры, затем в прапорщики и смог перейти на гражданскую службу.

А.Н. Плещеев поселился в Москве (под «строжайшим надзором») и полностью посвятил себя литературе. Плещеев много занимался переводами: он переводил Т. Шевченко, Г. Гейне, Дж. Байрона, Т. Мура, Ш. Петёфи и других поэтов. В Москве в доме Плещеева на литературных и музыкальных вечерах бывали известные поэты, композиторы, актёры. Плещеев активно поддерживал начинающих литераторов. Глубокая дружба связывала Плещеева с начинающим А.П. Чеховым.

Весна

Песни жаворонков снова
Зазвенели в вышине.
«Гостья милая, здорово!» —
Говорят они весне.

Уж теплее солнце греет,
Стали краше небеса…
Скоро всё зазеленеет —
Степи, рощи и леса.

Позабудет бедный горе,
Расцветёт душой старик…
В каждом сердце, в каждом взоре
Радость вспыхнет хоть на миг.

Выйдет пахарь на дорогу,
Взглянет весело вокруг;
Помолясь усердно Богу,

Бодро примется за плуг.

С кротким сердцем, с верой сильной
Весь отдастся он трудам —
И пошлёт Господь обильный
Урожай его полям!

На берегу

Домик над рекою,
В окнах огонёк,
Светлой полосою
На воду он лёг.

В доме не дождутся
С ловли рыбака:
Обещал вернуться
Через два денька.

Но прошёл и третий,
А его всё нет.
Ждут напрасно дети,
Ждёт и старый дед,

Всех нетерпеливей
Ждёт его жена,
Ночи молчаливей
И как холст бледна.

Вот за ужин сели.
Ей не до еды.
«Как бы в самом деле
Не было беды».

Вдоль реки несётся
Лодочка, на ней
Песня раздаётся
Всё слышней, слышней.

Звуки той знакомой
Песни услыхав,
Дети вон из дому
Бросились стремглав.

Весело вскочила
Из-за прялки мать,
И у деда сила
Вдруг нашлась бежать.

Песню заглушает
Звонкий крик ребят;
Тщетно унимает
Старый дед внучат.

Вот и воротился,
Весел и здоров!
В россказни пустился
Тотчас про улов…

Смотрит дед на щуку:
«Больно велика!»
Мать сынишке в руку
Суёт окунька,

Девочка присела
Около сетей
И взяла несмело
Парочку ершей.

Прыгают, смеются
Детки, если вдруг
Рыбки встрепенутся,
Выскользнут из рук.

Долго раздавался
Смех их над рекой;
Ими любовался
Месяц золотой.

Ласково мерцали
Звёзды с вышины,
Детям обещали
Радостные сны.

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)

Родился в Москве, в Немецкой слободе. Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду; мать, Надежда Осиповна, урождённая Ганнибал, была внучкой Абрама Петровича Ганнибала – «арапа Петра Великого».

Воспитанный французскими гувернёрами, из домашнего обучения вынес только прекрасное знание французского и любовь к чтению. Любовь к родному языку ему привили бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, превосходно говорившая и писавшая по-русски (явление редкое в дворянских семьях того времени), и няня Арина Родионовна. Раннему развитию литературных склонностей Пушкина способствовали литературные вечера в доме Пушкиных, где собирались видные писатели.

В 1811 году Пушкин поступил в только что открытый Царскосельский лицей – привилегированное учебное заведение, предназначенное для подготовки по специальной программе высших государственных чиновников из детей дворянского сословия. Здесь Пушкин впервые почувствовал себя Поэтом: талант его был признан товарищами по лицею. После окончания лицея Пушкин был определён на службу в Коллегию иностранных дел, где не работал и дня, всецело отдавшись творчеству.

В мае он был сослан на юг России за то, что «наводнил Россию возмутительными стихами». Николай I объявил Пушкину, что сам будет его цензором. В конце 1835 году Пушкин получил разрешение на издание своего журнала, названного им «Современник». Он надеялся, что журнал будет способствовать развитию русской словесности. В журнале печатались Жуковский, Баратынский, Вяземский, Д. Давыдов, Гоголь, Тютчев, Кольцов.

«…Унылая пора! Очей очарованье…» (отрывок из романа «Евгений Онегин»)

…Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

Зимний вечер

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,

То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко постучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

«Если жизнь тебя обманет…»

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живёт;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдёт;
Что пройдёт, то будет мило.

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

Царь с царицею простился,
В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
Ждёт-пождёт с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда очи
Разболелись глядючи
С белой зори до ночи;
Не видать милого друга!
Только видит: вьётся вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белёшенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь
Бог даёт царице дочь.
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча наконец
Воротился царь-отец.
На него она взглянула,
Тяжелёшенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.

Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошёл, как сон пустой,
Царь женился на другой.
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом, и всем взяла;

Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет мой, зеркальце! Скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищёлкивать перстами[20],
И вертеться подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась – и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово:
Семь торговых городов
Да сто сорок теремов.

На девичник собираясь,
Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»

Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».
Как царица отпрыгнёт,
Да как ручку замахнёт,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врёшь ты мне назло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!
И не диво, что бела:
Мать брюхатая сидела
Да на снег лишь и глядела!
Но скажи: как можно ей
Быть во всём меня милей?
Признавайся: всех я краше.
Обойди всё царство наше,
Хоть весь мир; мне ровной нет.
Так ли?» Зеркальце в ответ:
«А царевна всё ж милее,
Всё ж румяней и белее».
Делать нечего. Она,
Чёрной зависти полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку
И наказывает ей,
Сенной девушке своей,
Весть царевну в глушь лесную
И, связав её, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.
Чёрт ли сладит с бабой гневной?
Спорить нечего. С царевной
Вот Чернавка в лес пошла
И в такую даль свела,
Что царевна догадалась,
И до смерти испугалась,
И взмолилась: «Жизнь моя!
В чём, скажи, виновна я?
Не губи меня, девица!

А как буду я царица,
Я пожалую тебя».
Та, в душе её любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
«Не кручинься, Бог с тобой».
А сама пришла домой.
«Что? – сказала ей царица, —
Где красавица-девица?» —
«Там, в лесу, стоит одна, —
Отвечает ей она, —
Крепко связаны ей локти;
Попадётся зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть».

И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно Богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей-душой,
За невестой молодой.
Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем всё шла да шла
И на терем набрела.
Ей навстречу пёс, залая,
Прибежал и смолк, играя;
В ворота вошла она,
На подворье тишина.
Пёс бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась.
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут
Люди добрые живут;

Знать, не будет ей обидно.
Никого меж тем не видно.
Дом царевна обошла,
Всё порядком убрала,
Засветила Богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати[21] взобралась
И тихонько улеглась.

Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил: «Что за диво!
Всё так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названый.
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица».

И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,
В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали;
Усадили в уголок,
Подносили пирожок,
Рюмку полну наливали,
На подносе подавали.
От зелёного вина
Отрекалася она;
Пирожок лишь разломила
Да кусочек прикусила,

И с дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.
Отвели они девицу
Вверх во светлую светлицу
И оставили одну,
Отходящую ко сну.

День за днём идёт, мелькая,
А царевна молодая
Всё в лесу, не скучно ей
У семи богатырей.
Перед утренней зарёю
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса,
А хозяюшкой она
В терему меж тем одна
Приберёт и приготовит,
Им она не прекословит,
Не перечат ей они.
Так идут за днями дни.
Братья милую девицу
Полюбили. К ней в светлицу
Раз, лишь только рассвело,
Всех их семеро вошло.
Старший молвил ей: «Девица,
Знаешь: всем ты нам сестрица,
Всех нас семеро, тебя
Все мы любим, за себя
Взять тебя мы все бы рады,
Да нельзя, так Бога ради
Помири нас как-нибудь:
Одному женою будь,
Прочим ласковой сестрою.
Что ж качаешь головою?
Аль отказываешь нам?
Аль товар не по купцам?»

«Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные, —
Им царевна говорит, —
Коли лгу, пусть Бог велит
Не сойти живой мне с места.
Как мне быть? ведь я невеста.
Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно;
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей».
Братья молча постояли
Да в затылке почесали.
«Спрос не грех. Прости ты нас, —
Старший молвил, поклонясь, —
Коли так, не заикнуся
Уж о том». – «Я не сержуся, —
Тихо молвила она, —
И отказ мой не вина».
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно все опять
Стали жить да поживать.
Между тем царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить её,
А на зеркальце своё
Долго дулась и сердилась;
Наконец об нем хватилась
И пошла за ним, и, сев
Перед ним, забыла гнев,
Красоваться снова стала
И с улыбкою сказала:
«Здравствуй, зеркальце! Скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты прекрасна, спору нет;
Но живёт без всякой славы,
Средь зелёныя дубравы,
У семи богатырей
Та, что всё ж тебя милей».

И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела
Обмануть меня? и в чём!..»
Та призналася во всём:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.

Раз царевна молодая,
Милых братьев поджидая,
Пряла, сидя под окном.
Вдруг сердито под крыльцом
Пёс залаял, и девица
Видит: нищая черница
Ходит по двору, клюкой
Отгоняя пса. «Постой,
Бабушка, постой немножко, —
Ей кричит она в окошко, —
Пригрожу сама я псу
И кой-что тебе снесу».
Отвечает ей черница:
«Ох ты, дитятко девица!
Пёс проклятый одолел,
Чуть до смерти не заел.
Посмотри, как он хлопочет!
Выдь ко мне». – Царевна хочет
Выйти к ней и хлеб взяла,
Но с крылечка лишь сошла,
Пёс ей под ноги – и лает,
И к старухе не пускает;
Лишь пойдёт старуха к ней,
Он, лесного зверя злей,
На старуху. «Что за чудо?
Видно, выспался он худо, —
Ей царевна говорит, —
На ж, лови!» – и хлеб летит.
Старушонка хлеб поймала;
«Благодарствую, – сказала. —
Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!»
И к царевне наливное,
Молодое, золотое
Прямо яблочко летит…

Пёс как прыгнет, завизжит…
Но царевна в обе руки
Хвать – поймала.
«Ради скуки,
Кушай яблочко, мой свет.
Благодарствуй за обед», —
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала…
И с царевной на крыльцо
Пёс бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце пёсье ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! – Она его ласкать,
Треплет нежною рукою;
«Что, Соколко, что с тобою?
Ляг!» – и в комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Под окно за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Всё на яблоко. Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто мёдом налилось!
Видны семечки насквозь…
Подождать она хотела
До обеда, не стерпела,
В руки яблочко взяла,
К алым губкам поднесла,
Потихоньку прокусила
И кусочек проглотила…
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,
Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала…
Братья в ту пору домой
Возвращалися толпой
С молодецкого разбоя.
Им навстречу, грозно воя,

Пёс бежит и ко двору
Путь им кажет. «Не к добру! —
Братья молвили, – печали
Не минуем». Прискакали,
Входят, ахнули. Вбежав,
Пёс на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно.
Перед мёртвою царевной
Братья в горести душевной
Все поникли головой
И с молитвою святой
С лавки подняли, одели,
Хоронить её хотели
И раздумали. Она,
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
Не восстала ото сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили – и толпой
Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб её к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили,
И решёткой оградили;
И, пред мёртвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: «Спи во гробе.
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.
Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному».

В тот же день царица злая,

Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задала:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты, царица, спору нет,
Ты на свете всех милее,
Всех румяней и белее».

За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрён;
Кто в глаза ему смеётся,
Кто скорее отвернётся;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец:
«Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с тёплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». – «Свет ты мой, —
Красно солнце отвечало, —
Я царевны не видало.
Знать, её в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь её да встретил
Или след её заметил».

Тёмной ночки Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался.
«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаёшь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,

Звёзды смотрят на тебя.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». – «Братец мой, —
Отвечает месяц ясный, —
Не видал я девы красной.
На стороже я стою
Только в очередь мою.
Без меня царевна, видно,
Пробежала». – «Как обидно!» —
Королевич отвечал.
Ясный месяц продолжал:
«Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.
Ты к нему теперь ступай,
Не печалься же, прощай».

Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе.
Не боишься никого,
Кроме Бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених её». – «Постой, —
Отвечает ветер буйный, —
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места,
В том гробу твоя невеста».

Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошёл к пустому месту

На прекрасную невесту
Посмотреть ещё хоть раз.
Вот идёт; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг неё страна пустая;
Под горою тёмный вход.
Он туда скорей идёт.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумлёнными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встаёт она из гроба…
Ах!.. и зарыдали оба.
В руки он её берет
И на свет из тьмы несёт,
И, беседуя приятно,
В путь пускаются обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!

Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним,
Говоря: «Я ль всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты прекрасна, слова нет,
Но царевна всё ж милее,
Всё ж румяней и белее».
Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут её тоска взяла,
И царица умерла.

Лишь её похоронили,
Свадьбу тотчас учинили,
И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мёд, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873)

Фёдор Тютчев родился в усадьбе Овстуг Орловской губернии, происходил из старинного дворянского рода. Детские годы прошли в Овстуге, юношеские – связаны с Москвой.

Домашним образованием руководил молодой поэт-переводчик С. Раич, ставший также впоследствии учителем Михаила Лермонтова. Фёдор Тютчев изучил латынь и древнеримскую поэзию. В 12 лет уже успешно переводил Горация. В 1819 году поступил на словесное отделение Московского университета и сразу принял живое участие в его литературной жизни. Окончив университет в 1821 году со степенью кандидата словесных наук, в начале 1822 года Тютчев поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел. Через несколько месяцев был назначен чиновником при Русской дипломатической миссии в Мюнхене.

На чужбине Тютчев провел двадцать два года, из них двадцать – в Мюнхене. Здесь он женился, здесь познакомился с философом Шеллингом и подружился с Г. Гейне, став первым переводчиком его стихов на русский язык. Настоящее признание поэзия Тютчева впервые получила в 1836 году, когда в пушкинском «Современнике» появились его 16 стихотворений.

В 1844 году переехал с семьёй в Россию. В 1858 году он был назначен председателем Комитета иностранной цензуры, не раз выступал заступником преследуемых изданий. На этом посту, несмотря на многочисленные неприятности и столкновения с правительством, Тютчев пробыл 15 лет, вплоть до своей кончины.

Листья

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели

Закутавшись, спят.
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть ввек не желтеет,
Но ввек не свежа.

Мы ж, лёгкое племя,
Цветём и блестим
И краткое время
На сучьях гостим.
Всё красное лето
Мы были в красе,
Играли с лучами,
Купались в росе!..

Но птички отпели,
Цветы отцвели,
Лучи побледнели,
Зефиры[22] ушли.

Так что же нам даром
Висеть и желтеть?
Не лучше ль за ними
И нам улететь!

О буйные ветры,
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотим,
Летите, летите!
Мы с вами летим!..

Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Всё вторит весело громам…

Первый лист

Лист зеленеет молодой.
Смотри, как листьем молодым
Стоят обвеяны берёзы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полупрозрачною, как дым…

Давно им грезилось весной,
Весной и летом золотым,—
И вот живые эти грёзы,
Под первым небом голубым
Пробились вдруг на свет дневной…

О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорождённою их тенью!
И слышно нам по их движенью,
Что в этих тысячах и тьмах
Не встретишь мёртвого листа.

«Есть в осени первоначальной…»

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё – простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь —

И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле.

«Неохотно и несмело…»

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.

Ветра тёплого порывы,
Дальний гром и дождь порой…
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя —
Пламень белый и летучий
Окаймил её края.

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Всё сердитей и смелей.

Солнце раз ещё взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сияньи потонула
Вся смятенная земля.

Афанасий Афанасиевич Фет (1820–1892)

Родился в селе Новосёлки Орловской губернии. Его отцом был богатый помещик А. Шеншин, мать – Каролина Шарлотта Фёт. В возрасте 14 лет мальчик был лишён всех дворянских привилегий. Вернуть утраченное положение стало навязчивой идеей.

В 1838 году Фет стал студентом историко-филологического отделения философского факультета. Здесь появились на свет его первые стихотворения. Ради достижения своей цели – вернуть дворянское звание – в 1845 году он покинул Москву и поступил на военную службу в один из провинциальных полков на юге.

Продолжал писать стихи. Только через восемь лет он получил возможность жить вблизи Петербурга. Опубликовать первые стихотворения Фету помогает Тургенев. В 1850 году в журнале «Современник», хозяином которого стал Некрасов, публикуются стихотворения Фета, которые вызывают восхищение критиков всех направлений.

В 1858 году Фет вышел в отставку, так и не получив дворянство. Он приобретает поместье в Мценском уезде, почти перестаёт писать, делается помещиком, работая в своём имении, и ничего не хочет слышать о литературе. Так продолжалось почти 20 лет.

Рыбка

Тепло на солнышке. Весна
Берёт свои права;
В реке местами глубь ясна,
На дне видна трава.

Чиста холодная струя,
Слежу за поплавком, —
Шалунья рыбка, вижу я,
Играет с червяком.

Голубоватая спина,
Сама как серебро,
Глаза – бурмитских два зерна[23],
Багряное перо.

Идёт, не дрогнет под водой,
Пора – червяк во рту!
Увы, блестящей полосой
Юркнула в темноту.

Но вот опять лукавый глаз
Сверкнул невдалеке.
Постой, авось на этот раз
Повиснешь на крючке!

«Облаком волнистым…»

Облаком волнистым

Пыль встаёт вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далёкий,
Вспомни обо мне!

«Зреет рожь над жаркой нивой…»

Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.

Робко месяц смотрит в очи,
Изумлён, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.

Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.

Весенний дождь

Ещё светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет.

А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.

Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым мёдом тянет,
И что-то к саду подошло,

По свежим листьям барабанит.

Русская литература XX века

Проза

Аркадий Петрович Гайдар (1904–1941)

Аркадий Гайдар (настоящая фамилия – Голиков) родился в городе Льгове Курской губернии. Его отец был учителем. Мама приходилась дальней родственницей М.Ю. Лермонтову. Детские годы прошли в Арзамасе.

В годы Первой мировой войны, когда отца забрали на фронт, Аркадий пытался уйти за ним, но был пойман и возвращён домой. В годы Гражданской войны с 14 лет служил в Красной Армии. В 15 лет командовал взводом, а в 16 лет – ротой, после окончания Высшей стрелковой школы в 1921 году стал командиром полка.

В декабре 1924 году Гайдар ушёл из армии по болезни (после ранения и контузии). Начал писать. С этого времени он стал известным как детский писатель, прославляющий боевое товарищество, дружбу и честность.

Горячий камень

I

Жил на селе одинокий старик. Был он слаб, плёл корзины, подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем зарабатывал свой хлеб.

Он пришёл на село давно, издалека, но люди сразу поняли, что этот человек немало хватил горя. Был он хром, не по годам сед. От щеки его через губы пролёг кривой рваный шрам. И поэтому, даже когда он улыбался, лицо его казалось печальным и суровым.

II

Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала. Но, зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, оцарапался, взвыл и тут же был сторожем схвачен.

Конечно, старик мог бы стегануть Ивашку крапивой или, что ещё хуже, отвести его в школу и рассказать там, как было дело.

Но старик сжалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в ссадинах, позади, как овечий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли слёзы.

Молча вывел старик через калитку и отпустил перепуганного Ивашку восвояси, так и не дав ему ни одного тычка и даже не сказав вдогонку ни одного слова.

От стыда и горя Ивашка забрёл в лес, заблудился и попал на болото. Наконец он устал. Опустился на торчавший из мха голубой камень, но тотчас же с воплем подскочил, так как ему показалось, что он сел на лесную пчелу и она его через дыру штанов больно ужалила.

Однако никакой пчелы на камне не было. Этот камень был, как уголь, горячий, и на плоской поверхности его проступали закрытые глиной буквы.

Ясно, что камень был волшебный! – это Ивашка смекнул сразу. Он сбросил башмак и торопливо начал оббивать каблуком с надписей глину, чтобы поскорее узнать: что с этого камня может он взять для себя пользы и толку.

И вот он прочёл такую надпись:

КТО СНЕСЁТ ЭТОТ КАМЕНЬ НА ГОРУ
И ТАМ РАЗОБЬЁТ ЕГО НА ЧАСТИ,
ТОТ ВЕРНЁТ СВОЮ МОЛОДОСТЬ
И НАЧНЁТ ЖИТЬ СНАЧАЛА

Ниже стояла печать, но не простая, круглая, как в сельсовете, и не такая, треугольником, как на талонах в кооперативе, а похитрее: два креста, три хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые.

Тут Ивашка Кудряшкин огорчился. Ему было всего восемь лет – девятый. И жить начинать сначала, то есть опять на второй год оставаться в первом классе, ему не хотелось вовсе.

Вот если бы через этот камень, не уча заданных в школе уроков, можно было из первого класса перескакивать сразу в третий – это другое дело!

Но всем и давно уже известно, что такого могущества даже у самых волшебных камней никогда не бывает.

III

Проходя мимо сада, опечаленный Ивашка опять увидел старика, который, кашляя, часто останавливаясь и передыхая, нёс ведро извёстки, а на плече держал палку с мочальной кистью.

Тогда Ивашка, который был по натуре мальчиком добрым, подумал: «Вот идёт человек, который очень свободно мог хлестнуть меня крапивой. Но он пожалел меня. Дай-ка теперь я его пожалею и верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал и не дышал так тяжко».

Вот с какими хорошими мыслями подошёл к старику благородный Ивашка и прямо объяснил ему, в чём дело. Старик сурово поблагодарил Ивашку, но уйти с караула на болото отказался, потому что были ещё на свете такие люди, которые, очень просто, могли бы за это время колхозный сад от фруктов очистить.

И старик приказал Ивашке, чтобы тот сам выволок камень из болота в гору. А он потом придёт туда ненадолго и чем-нибудь скоренько по камню стукнет.

Очень огорчил Ивашку такой поворот дела.

Но рассердить старика отказом он не решился. На следующее утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не обжечь о камень руки, отправился Ивашка на болото.

IV

Измазавшись грязью и глиной, с трудом вытянул Ивашка камень из болота и, высунув язык, лёг у подножия горы на сухую траву.

«Вот! – думал он. – Теперь вкачу я камень на гору, придёт хромой старик, разобьёт камень, помолодеет и начнёт жить сначала. Люди говорят, что хватил он немало горя. Он стар, одинок, избит, изранен и счастливой жизни, конечно, никогда не видел. А другие люди её видели». На что он, Ивашка, молод, а и то уже три раза он такую жизнь видел. Это – когда он опаздывал на урок и совсем незнакомый шофёр подвёз его на блестящей легковой машине от конюшни колхозной до самой школы. Это – когда весной голыми руками он поймал в канаве большую щуку. И, наконец, когда дядя Митрофан взял его с собой в город на весёлый праздник Первое мая.

«Так пусть же и несчастный старик хорошую жизнь увидит», – великодушно решил Ивашка.

Он встал и терпеливо потянул камень в гору.

V

И вот перед закатом к измученному и продрогшему Ивашке,

который, съёжившись, сушил грязную, промокшую одежду возле горячего камня, пришёл на гору старик.

– Что же ты, дедушка, не принёс ни молотка, ни топора, ни лома? – вскричал удивлённый Ивашка. – Или ты надеешься разбить камень рукою?

– Нет, Ивашка, – отвечал старик, – я не надеюсь разбить его рукой. Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жить сначала.

Тут старик подошёл к изумлённому Ивашке, погладил его по голове. Ивашка почувствовал, что тяжёлая ладонь старика вздрагивает.

– Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен, – говорил старик Ивашке. – А на самом деле я самый счастливый человек на свете.

Ударом бревна мне переломило ногу, – но это тогда, когда мы – ещё неумело – валили заборы и строили баррикады, поднимали восстание против царя, которого ты видел только на картинке.

Мне вышибли зубы, – но это тогда, когда, брошенные в тюрьмы, мы дружно пели революционные песни. Шашкой в бою мне рассекли лицо, – но это тогда, когда первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию.

На соломе, в низком холодном бараке метался я в бреду, больной тифом. И грозней смерти звучали надо мной слова о том, что наша страна в кольце и вражья сила нас одолевает. Но, очнувшись вместе с первым лучом вновь сверкнувшего солнца, узнавал я, что враг опять разбит и что мы опять на-ступаем.

И, счастливые, с койки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки и робко мечтали тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, как она сейчас, – могучей и великой. Это ли ещё, глупый Ивашка, не счастье?! И на что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно!

Тут старик замолчал, достал трубку и закурил.

– Да, дедушка! – тихо сказал тогда Ивашка. – Но раз так, – то зачем же я старался и тащил этот камень в гору, когда он очень спокойно мог бы лежать на своём болоте?

– Пусть лежит на виду, – сказал старик, – и ты посмотришь, Ивашка, что из этого будет.

VI

С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на

той горе неразбитым.

И много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут восвояси.

Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение. «А что, – думаю, – дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала!»

Однако постоял-постоял и вовремя одумался.

«Э-э! – думаю, скажут, увидав меня помолодевшим, соседи. – Вот идёт молодой дурак! Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет то же начинать сначала».

Скрутил я тогда табачную цигарку. Прикурил, чтобы не тратить спичек, от горячего камня. И пошёл прочь – своей дорогой.

Максим Горький (1868–1936)

Русский писатель Максим Горький (настоящие имя и фамилия Алексей Максимович Пешков) родился в 1868 году в семье столяра-краснодеревщика и мещанки. Детство писателя прошло в доме деда. Он обучал внука по церковным книгам, а бабушка пела народные песни и рассказывала сказки.

Рано потеряв отца, подростком работал грузчиком, пекарем. Побывал в Поволжье, на Дону, Украине, в Южной Бессарабии, Крыму, на Кавказе. Всё образование Горького – это ремесленное училище, в остальном жажду знаний он утолял самостоятельно, будучи практически во всём «самоучкой». Тяжёлая работа и ранние лишения преподали будущему писателю хорошее знание жизни и заронили мечту о переустройстве мира. Эту мечту он пытался воплотить в течение всей своей жизни – и своими поступками, и в своих произведениях.

После Октябрьской революции Горький активно участвовал в строительстве новой культуры: помогал организации Первого Рабоче-крестьянского университета, Большого драматического театра в Петербурге, создал издательство «Всемирная литература». В годы Гражданской войны, голода и разрухи проявлял заботу о русской интеллигенции, и многие учёные, писатели и художники были спасены им от голодной смерти.

В 1921 году Горький по настоянию Ленина уехал лечиться за границу (возобновился туберкулёз). Сначала жил на курортах Германии и Чехословакии, затем переехал в Италию в Сорренто.

Случай с Евсейкой

Однажды маленький мальчик – Евсейка – очень хороший человек! – сидя на берегу моря, удил рыбу. Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюёт. А день был жаркий, стал Евсейка со скуки дремать и – бултых! – свалился в воду.

Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько, а потом нырнул и тотчас достиг морского дна.

Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг – очень хорошо!

Ползёт, не торопясь, алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб; везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии, и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут, качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые креветки, вот тащится морская черепаха, и над её тяжёлым щитом играют две маленькие зелёные рыбёшки, совсем как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везёт свою раковину рак-отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стих вспомнил:

Дом – не тележка у дядюшки Якова…

И вдруг слышит, над головою у него точно кларнет запищал:

– Вы кто такой?

Смотрит – над головою у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается, точно её уже зажарили и она лежит на блюде среди стола.

– Это вы говорите? – спросил Евсейка.

– Я-а…

Удивился Евсейка и сердито спрашивает:

– Как же это вы? Ведь рыбы не говорят! А сам думает: «Вот так раз! Немецкий я вовсе не понимаю, а рыбий язык сразу понял! Ух, какой молодчина!»

И, приосанясь, оглядывается: плавает вокруг него разноцветная игривая рыбёшка и – смеётся, разговаривает:

– Глядите-ко! Вот чудище приплыло: два хвоста!

– Чешуи – нет, фи!

– И плавников только два!

Некоторые, побойчее, подплывают прямо к носу и дразнятся:

– Хорош, хорош!

Евсейка обиделся:

– Вот нахалки! Будто не понимают, что перед ними настоящий человек…

И хочет поймать их, а они, уплывая из-под рук, резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором, дразня большого рака:

Под камнями рак живёт,
Рыбий хвостик рак жуёт,
Рыбий хвостик очень сух,
Рак не знает вкуса мух.

А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни:

– Попадитесь-ка мне, я вам отстригу языки-то!

«Серьёзный какой», – подумал Евсейка. Большая же рыба пристаёт к нему:

– Откуда это вы взяли, что все рыбы – немые?

– Папа сказал.

– Что такое – папа?

– Так себе… Вроде меня, только – побольше и усы у него. Если не сердится, то очень милый…

– А он рыбу ест?

Тут Евсейка испугался: скажи-ка ей, что ест!

Поднял глаза вверх, видит сквозь воду мутно-зелёное небо и солнце в нём, жёлтое, как медный поднос; подумал мальчик и сказал неправду:

– Нет, он не ест рыбы, костлявая очень…

– Однако – какое невежество! – обиженно вскричала рыба. – Не все же мы костлявые! Например – моё семейство…

«Надо переменить разговор», – сообразил Евсей и вежливо спрашивает:

– Вы бывали у нас наверху?

– Очень нужно! – сердито фыркнула рыба. – Там дышать нечем…

– Зато – мухи какие…

Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против носа, да вдруг и говорит:

– Му-хи? А вы зачем сюда приплыли?

«Ну, начинается! – подумал Евсейка. – Съест она меня, дура!..» И, будто бы беззаботно, ответил:

– Так себе, гуляю…

– Гм! – снова фыркнула рыба. – А может быть, вы – уже утопленник?

– Вот ещё! – обиженно крикнул мальчик. – Нисколько даже! Я вот сейчас встану и…

Попробовал встать, а – не может: точно его тяжёлым одеялом окутали – ни поворотиться, ни пошевелиться!

«Сейчас я начну плакать», – подумал он, но тотчас же сообразил, что плачь не плачь, в воде слёз не видно, и решил, что не стоит плакать, – может быть, как-нибудь иначе удастся

вывернуться из этой неприятной истории.

А вокруг – Господи! – собралось разных морских жителей – числа нет! На ногу взбирается голотурия, похожая на плохо нарисованного поросёнка, и шипит:

– Желаю с вами познакомиться поближе…

Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит, – укоряет Евсейку:

– Хорош! хорош! Ни рак, ни рыба, ни моллюск, ай-я-яй!

– Погодите, я, может, ещё авиатором буду, – говорит ему Евсей, а на колени его влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает:

– Позвольте узнать, который час?

Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок; везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики, одно ухо щекочет креветка, другое – тоже щупает кто-то любопытный, даже по голове путешествуют маленькие рачки, – запутались в волосах и дёргают их.

– Ой, ой, ой! – воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на всё беззаботно и ласково, как папа, когда он виноват, а мама сердится на него.

А вокруг в воде повисли рыбы – множество! – поводят тихонько плавниками и, вытаращив на мальчика круглые глаза, скучные, как алгебра, бор-мочут:

Как он может жить на свете
без усов и чешуи?
Мы бы, рыбы, не могли бы
раздвоить хвосты свои!
Не похож он ни на рака, ни на нас —
весьма во многом.
Не родня ли это чудо безобразным
осьминогам?

«Дуры! – обиженно думает Евсейка. – У меня по русскому языку в прошлом году две четвёрки было…»

И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже хотел беззаботно посвистеть, но – оказалось – нельзя: вода лезет в рот, точно пробка.

А болтливая рыба всё спрашивает его:

– Нравится вам у нас?

– Нет… то есть – да, нравится!.. У меня дома тоже очень хорошо! – ответил Евсей и снова испугался: «Батюшки, что я говорю?! Вдруг она рассердится, и начнут они меня есть…» Но вслух говорит:

– Давайте как-нибудь играть, а то мне скучно…

Это очень понравилось болтливой рыбе, она засмеялась, открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры, виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечьим голосом кричит:

– Это хорошо – поиграть! Это очень хорошо – поиграть!

– Поплывёмте наверх! – предложил Евсей.

– Зачем? – спросила рыба.

– А вниз уже нельзя ведь! И там, наверху, – мухи.

– Мух-хи! Вы их любите?..

Евсей любил только маму, папу и мороженое, но ответил:

– Да…

– Ну что ж? Поплывём! – сказала рыба, перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цап её за жабры и кричит:

– Я – готов!

– Стойте! Вы, чудище, слишком засунули свои лапы в жабры мне…

– Ничего!

– Как это – ничего? Порядочная рыба не может жить не дыша.

– Господи! – вскричал мальчик. – Ну что вы спорите всё? Играть так играть…

А сам думает: «Лишь бы только она меня немножко подтащила наверх, а там уже я вынырну».

Поплыла рыба, будто танцуя, и поёт во всю мочь:

Плавниками трепеща,
И зубаста, да тоща,
Пищи на обед ища,
Ходит щука вкруг леща!

Маленькие рыбёшки кружатся и хором орут:

Вот так штука!
Тщетно тщится щука
Ущемить леща!
Вот так это – штука!

Плыли-плыли, чем выше – тем всё быстрее и легче, и вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила на воздух:

– Ой!

Смотрит – ясный день, солнце играет на воде, зелёная вода заплёскивает на берег, шумит, поёт. Евсейкино удилище плавает в море, далеко от берега, а сам он сидит на том же камне, с которого свалился, и уже весь сухой!

– Ух, – сказал он, улыбаясь солнцу, – вот я и вынырнул!

Детство (отрывок)

В саду, вокруг берёз, гудя, летали жуки, бондарь[24] работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлёпнул ею по ладони и бодро позвал меня:

– Ну-ка, ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это – аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это – что?

– Буки.

– Попал. Это?

– Веди.

– Врёшь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, – это что?

– Добро.

– Попал. Это?

– Глаголь.

– Верно. А это?

– Аз.

Вступилась бабушка:

– Лежал бы ты, отец, смирно…

– Стой, молчи! Это мне впору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячей, влажной рукой и через плечо моё тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, по́том и печёным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

– Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» – на сутулого Григория, «я» – на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во всё горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

– Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орёшь, чего?

– Это вы кричите…

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щёки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

– Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял мне дружески:

– Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

– А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету: память, слава Богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.

– Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь…

Виктор Юзефович Драгунский (1913–1972)

Замечательный детский писатель Виктор Драгунский родился в 1913 году в Нью-Йорке. Незадолго до Первой мировой войны семья вернулась на Родину и обосновалась в Гомеле, где и прошло детство Драгунского. Ему рано пришлось повзрослеть и начать зарабатывать на жизнь. После школы он поступил учеником токаря на завод, однако очень быстро его уволили за трудовую провинность. После этого Драгунский устроился учеником шорника[25] на фабрику. Одновременно он поступил в «Литературно-театральные мастерские» под руководством А. Дикого учиться театральному мастерству. С этого момента начинается творческая жизнь – Драгунский играет в театре, работает клоуном в цирке и одновременно пишет свои первые юмористические рассказы.

В 1948 году Драгунский создаёт пародийный «театр в театре» – «Синяя птичка», где профессиональные актёры с удовольствием играли в весёлых пародийных спектаклях, имевших неизменный успех.

С 1959 года Виктор Юзефович начинает писать весёлые рассказы про Дениса Кораблёва под общим названием «Денискины рассказы». Именно они сделали Драгунского столь популярным. Вместе с Дениской и его смешным другом Мишкой мы смеёмся, переживаем и задумываемся иногда по весьма философским вопросам. Кстати, Дениской писатель назвал своего героя неспроста – так же зовут и сына Драгунского.

Как вспоминают знакомые писателя, у него было особое чутьё на мелочи. Он умел находить необыкновенные уголки Москвы, которые были совершенно неизвестны другим, знал, где можно увидеть что-нибудь интересное и где можно купить самые вкусные бублики. Все наблюдения Драгунского отразились в Денискиных рассказах, в которых чутко передано не искажённое, детское восприятие мира – звуки, запахи, ощущения, увиденные и почувствованные словно впервые.

Кот в сапогах

– Мальчики и девочки! – сказала Раиса Ивановна. – Вы хорошо закончили эту четверть. Поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдана премия, так что готовьтесь. – И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась с нами и ушла.

И, когда мы шли домой, Мишка сказал:

– Я на карнавале буду гномом. Мне вчера купили накидку от дождя и капюшон. Я только лицо чем-нибудь занавешу, и гном готов. А ты кем нарядишься?

– Там видно будет.

И я забыл про это дело. Потому что дома мама мне сказала, что она уезжает в санаторий на десять дней и чтоб я тут вёл себя хорошо и следил за папой. И она на другой день уехала, а я с папой совсем замучился. То одно, то другое, и на улице шёл снег, и всё время я думал, когда же мама вернётся. Я зачёркивал клеточки на своём календаре.

И вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит:

– Идёшь ты или нет?

Я спрашиваю:

– Куда?

Мишка кричит:

– Как – куда? В школу! Сегодня же утренник, и все будут в костюмах! Ты что, не видишь, что я уже гномик?

И правда, он был в накидке с капюшончиком. Я сказал:

– У меня нет костюма! У нас мама уехала.

А Мишка говорит:

– Давай сами что-нибудь придумаем! Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Ты надень на себя, вот и будет костюм для карнавала.

Я говорю:

– Ничего у нас нет. Вот только папины бахилы для рыбалки.

Бахилы – это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь – первое дело бахилы. Нипочём ноги не промочишь.

Мишка говорит:

– А ну надевай, посмотрим, что получится!

Я прямо с ботинками влез в папины сапоги.

Оказалось, что бахилы доходят мне чуть не до подмышек. Я попробовал в них походить. Ничего, довольно неудобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось. Он говорит:

– А шапку какую?

Я говорю:

– Может быть, мамину соломенную, что от солнца?

– Давай её скорей!

Достал я шляпу, надел. Оказалось, немножко великовата, съезжает до носа, но всё-таки на ней цветы.

Мишка посмотрел и говорит:

– Хороший костюм. Только я не понимаю, что он значит?

Я говорю:

– Может быть, он значит «мухомор»?

Мишка засмеялся:

– Что ты, у мухомора шляпка вся красная! Скорей всего, твой костюм обозначает «старый рыбак»!

Я замахал на Мишку:

– Сказал тоже! «Старый рыбак»!.. А борода где?

Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор, а там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, всплеснула руками и говорит:

– Ох! Настоящий кот в сапогах!

Я сразу догадался, что значит мой костюм! Я – «Кот в сапогах»! Только жалко, хвоста нет! И спрашиваю:

– Вера Сергеевна, у вас есть хвост?

А Вера Сергеевна говорит:

– Разве я очень похожа на чёрта?

– Нет, не очень, – говорю я. – Но не в этом дело. Вот вы сказали, что этот костюм значит «Кот в сапогах», а какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост! Вера Сергеевна, помогите, а?

Тогда Вера Сергеевна сказала:

– Одну минуточку…

И вынесла мне довольно драненький рыжий хвостик с чёрными пятнами.

– Вот, – говорит, – это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдёт.

Я сказал «большое спасибо» и понёс хвост Мишке. Мишка, как увидел его, говорит:

– Давай быстренько иголку с ниткой, я тебе пришью. Это чудный хвостик.

И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шил довольно ловко, но потом вдруг ка-ак уколет меня! Я закричал:

– Потише ты, храбрый портняжка! Ты что, не чувствуешь, что шьёшь прямо по живому? Ведь колешь же!

– Это я немножко не рассчитал!

Да опять как кольнёт!

– Мишка, рассчитывай получше, а то я тебя тресну!

А он:

– Я в первый раз в жизни шью!

И опять – коль!!!

Я прямо заорал:

– Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть?

Но тут Мишка сказал:

– Ура! Готово! Ну и хвостик! Не у каждой кошки есть такой!

Тогда я взял тушь и кисточкой нарисовал себе усы, по три уса с каждой стороны – длинные-длинные, до ушей!

И мы пошли в школу.

Там народу было видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек пятьдесят. И ещё было очень много белых «снежинок». Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка.

И мы все очень веселились и танцевали.

И я тоже танцевал, но всё время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог, и шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка.

А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом:

– Просим «Кота в сапогах» выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм!

И я пошёл на сцену, и когда входил на последнюю ступеньку, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись, а Люся пожала мне руку и дала две книжки: «Дядю Стёпу» и «Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл туш, а я пошёл со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал; и опять все засмеялись.

А когда мы шли домой, Мишка сказал:

– Конечно, гномов много, а ты один!

– Да, – сказал я, – но все гномы были так себе, а ты был очень смешной, и тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну.

Мишка сказал:

– Не надо, что ты!

Я спросил:

– Ты какую хочешь?

– «Дядю Стёпу».

И я дал ему «Дядю Стёпу».

А дома я скинул свои огромные бахилы, и побежал к календарю, и зачеркнул сегодняшнюю клеточку. А потом зачеркнул уж и завтрашнюю.

Посмотрел – а до маминого приезда осталось три дня!

Он живой и светится

Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверное, задержалась в институте, или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы всё ещё не было…

И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались тёмные облака – они были похожи на бородатых стариков…

И мне захотелось есть, а мамы всё не было, и я подумал, что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждёт меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял её сидеть на песке и скучать.

И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал:

– Здоро́во!

И я сказал:

– Здоро́во!

Мишка сел со мной и взял в руки самосвал.

– Ого! – сказал Мишка. – Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да? А ручка? Для чего она? Её можно вертеть? Да? А? Ого! Дашь мне его домой?

Я сказал:

– Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом.

Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало ещё темнее.

Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придёт мама. Но она всё не шла. Видно, встретила тётю Розу, и они стоят и разговаривают и даже не думают про меня. Я лёг на песок.

Тут Мишка говорит:

– Не дашь самосвал?

– Отвяжись, Мишка.

Тогда Мишка говорит:

– Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!

Я говорю:

– Сравнил Барбадос с самосвалом…

А Мишка:

– Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?

Я говорю:

– Он у тебя лопнутый.

А Мишка:

– Ты его заклеишь!

Я даже рассердился.

– А плавать где? В ванной? По вторникам?

И Мишка опять надулся. А потом говорит:

– Ну, была не была! Знай мою доброту! На!

И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял её в руки.

– Ты открой её, – сказал Мишка, – тогда увидишь!

Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зелёный огонёк, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звёздочка, и в то же время я сам держал её сейчас в руках.

– Что это, Мишка, – сказал я шёпотом, – что это такое?

– Это светлячок, – сказал Мишка. – Что, хорош? Он живой, не думай.

– Мишка, – сказал я, – бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту звёздочку, я её домой возьму…

И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться: какой он зелёный, словно в сказке, и как он хоть и близко, на ладони, а светит, словно издалека… И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит моё сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать.

И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете.

Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила:

– Ну, как твой самосвал?

А я сказал:

– Я, мама, променял его.

Мама сказала:

– Интересно! А на что?

Я ответил:

– На светлячка! Вот он, в коробочке живёт. Погаси-ка свет!

И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоём смотреть на бледно-зелёную звёздочку.

Потом мама зажгла свет.

– Да, – сказала она, – это волшебство! Но всё-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?

– Я так долго ждал тебя, – сказал я, – и мне было скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете.

Мама пристально посмотрела на меня и спросила:

– А чем же, чем же именно он лучше?

Я сказал:

– Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!..

Девочка на шаре

Как-то мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шёл туда, потому что я был в цирке только один раз, и то очень давно. Главное, Алёнке всего только шесть лет, а вот она уже успела побывать в цирке целых три раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пришли в цирк, и я думал, как хорошо, что я уже большой и сейчас, в этот раз всё увижу как следует. А в тот раз я был маленький, я не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда на арену вышли акробаты и один полез на голову другому, я ужасно расхохотался, потому что подумал, что это они так нарочно делают, для смеху, ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дяденьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. И ещё в тот раз я всё больше смотрел на оркестр, как они играют – кто на барабане, кто на трубе, – и дирижёр машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют как хотят. Это мне очень понравилось, но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. И я их не видел и пропускал самое интересное. Конечно, я в тот раз ещё совсем глупый был.

И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковёр, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом накупили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво – в красные костюмы с жёлтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошёл их начальник в чёрном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглёр, и началась потеха! Он кидал шарики, по десять или по сто штук, вверх и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть. Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу, как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглёр кинул этот мячик к нам в публику, и тут уж началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку, а Валерка – в Мишку, а Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижёра, но в него не попал, а попал в барабан! Бамм! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглёру, но мяч не долетел, он просто угодил одной красивой

тётеньке в причёску, и у неё получилась не причёска, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли.

И когда жонглёр убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатили огромный голубой шар, и дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего, и оркестр опять заиграл что-то очень весёлое, только не так быстро, как раньше.

И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У неё были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у неё были длинные руки, она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для неё выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него, но шар завертелся под её ногами, и она на нём вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а это какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вёз её на себе, она могла ехать на нём и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь! Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла, и я подумал, что она, наверно, и есть Дюймовочка, такая она была маленькая, милая и необыкновенная.

В это время она остановилась, и кто-то подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это всё было как в сказке. И тут ещё потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте, и она медленно поплыла по кругу, и светилась, и звенела, и это было удивительно – я за всю свою жизнь не видел ничего такого подобного.

И когда зажгли свет, все захлопали и закричали «браво», и я тоже кричал «браво». А девочка соскочила со своего шара и подбежала к нам поближе, и вдруг на бегу перевернулась через голову, и ещё, и ещё раз, и всё вперёд и вперёд. И мне показалось, что вот она сейчас разобьётся о барьер, и я вдруг очень испугался, и вскочил на ноги, и хотел побежать к ней, чтобы подхватить её и спасти, но девочка вдруг остановилась, раскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту девочка посмотрела на меня, и я увидел, что она увидела, что я её вижу, и

что я тоже вижу, что она видит меня, и она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел побежать за ней, и я протянул к ней руки. А она вдруг послала нам всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать, но мне было не до него. Я всё время думал про девочку на шаре, какая она удивительная и как она помахала мне рукой и улыбнулась, и больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть клоуна с его красным носом, потому что он отвлекал меня от той девочки. Она всё ещё мне представлялась на своём голубом шаре.

А потом объявили антракт, и все побежали в буфет пить ситро, а я тихонько спустился вниз и подошёл к занавеске, откуда выходили артисты. Мне хотелось ещё раз посмотреть на эту девочку, и я стоял у занавески и глядел – вдруг она выйдет. Но она не выходила.

А после антракта выступали львы, и мне не понравилось, что укротитель всё время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол рядком и ходил по львам ногами, как по ковру, а у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних пампасах, оглашая окрестность грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население, а так получается не лев, а просто я сам не знаю что.

И когда всё кончилось и мы пошли домой, я всё время думал про девочку на шаре.

А вечером папа спросил:

– Ну как? Понравилось в цирке?

Я сказал:

– Папа! Там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре. Такая славная, лучше всех! Она мне улыбнулась и махнула рукой! Мне одному, честное слово! Понимаешь, папа? Пойдём в следующее воскресенье в цирк! Я тебе её покажу!

Папа сказал:

– Обязательно пойдём. Обожаю цирк!

А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз.

…И началась длиннющая неделя, и я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался, и всё равно каждый день думал, когда же придёт воскресенье и мы с папой пойдём в цирк, и я снова увижу девочку на шаре, и покажу её папе, и, может быть, папа пригласит её к нам в гости, и я подарю ей

пистолет-«браунинг» и нарисую корабль, идущий на всех парусах.

Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах, и кричали, и курили, и сидели допоздна, а после них у мамы разболелась голова. И папа сказал мне, когда мы убирались:

– В следующее воскресенье, даю клятву Верности и Чести.

И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил ещё одну неделю. И папа сдержал своё слово, он пошёл со мной в цирк и купил билеты во второй ряд, и я радовался, что мы так близко сидим, и представление началось, и я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, всё время объявлял разных других артистов, и они выходили и выступали по-всякому, но девочка всё не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения, мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своём серебряном костюме с воздушным плащом и как она ловко бегает по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе:

– Сейчас он объявит её!

Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого, и у меня даже ненависть к нему появилась, и я всё время говорил папе:

– Да ну его! Это ерунда на постном масле! Это не то!

А папа говорил, не глядя на меня:

– Не мешай. Это очень интересно! Самое то!

Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз это ему интересно. Посмотрим, что он запоёт, когда увидит девочку на шаре. Небось подскочит на своём стуле на два метра в высоту.

Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул:

– Ант-рра-кт!

Я просто ушам своим не поверил! Антракт! А почему? Ведь во втором отделении будут только львы! А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала и у неё сотрясение мозга?

Я сказал:

– Папа, пойдём скорей узнаем, где же девочка на шаре?

Папа ответил:

– Да, да! А где же твоя эквилибристка? Что-то не видать! Пойдём-ка купим программку!..

Он был весёлый и довольный. Он оглянулся вокруг, засмеялся и сказал:

– Ах, люблю… Люблю я цирк! Самый запах этот… Голову кружит.

И мы пошли в коридор. Там толклось много народу, и продавались конфеты и вафли, и на стенах висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли наконец контролёршу с программками. Папа купил у неё одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролёрши:

– Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?

Она сказала:

– Какая девочка?

Папа сказал:

– В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?

Я стоял и молчал. Контролёрша сказала:

– Ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она. Уехала. Что ж вы поздно хватились?

Я стоял и молчал. Папа сказал:

– Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Т. Воронцову, а её нет.

Контролёрша сказала:

– Да она уехала… Вместе с родителями… Родители у неё – «Бронзовые люди – Два-Яворс». Может, слыхали? Очень жаль… Вчера только уехали.

Я сказал:

– Вот видишь, папа…

Он сказал:

– Я не знал, что она уедет. Как жалко… Ну что ж… Ничего не поделаешь…

Я спросил у контролёрши:

– Это, значит, точно?

Она сказала:

– Точно.

Я сказал:

– А куда, неизвестно?

Она сказала:

– Во Владивосток.

Вон куда! Далеко. Владивосток. Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо. Я сказал:

– Какая даль.

Контролёрша заторопилась:

– Ну идите, идите на места, уже гасят свет!

Папа подхватил:

– Пошли, Дениска! Сейчас будут львы! Косматые, рычат – ужас! Бежим смотреть!

Я сказал:

– Пойдём домой, папа.

Он сказал:

– Вот так раз…

Контролёрша засмеялась. Но мы подошли к гардеробу, и я протянул номер, и мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго, потом я сказал:

– Владивосток – это на самом конце карты. Туда, если поездом, – долго проедешь…

Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли ещё немного, и я вдруг вспомнил про самолёты и сказал:

– А на «Ту-104» за три часа – и там!

Но папа всё равно не ответил. Он молча шагал и крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал:

– Зайдём в кафе «Мороженое». Смутузим по две порции, а?

Я сказал:

– Не хочется что-то, папа.

Он сказал:

– Там подают воду, называется «Кахетинская». Нигде в мире не пил лучшей воды.

Я сказал:

– Не хочется, папа.

Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шёл очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шёл так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьёзное и грустное лицо.

Борис Степанович Житков (1882–1938)

Борис Житков – русский и советский писатель, прозаик, педагог, путешественник и исследователь. Автор популярных приключенческих рассказов и повестей, произведений о животных.

Родился в семье преподавателя математики и пианистки. Он был младшим из четверых детей. Детство будущего писателя прошло в Одессе, там же он получил начальное домашнее образование, а затем окончил гимназию. Причём гимназистом Житков был весьма необычным: его увлечения не знали границ. Он дотошно подходил ко всему, чем занимался – будь то фотография, игра на скрипке или спорт. Во время учёбы он подружился с Корнеем Чуковским. После гимназии Житков поступил на естественное отделение Новороссийского университета. Окончив университет в 1906 году, он сделал

карьеру моряка и освоил несколько других профессий. Житков руководил ихтиологической экспедицией по Енисею, работал на заводах Николаева и Копенгагена, ходил на парусниках в Болгарию и Турцию, а на грузовом пароходе штурманом – из Одессы во Владивосток. Во время революции 1905 года изготавливал взрывчатку для бомб и помогал печатать листовки, в школе преподавал математику и черчение.

В течение пяти лет Житков учился на кораблестроительном отделении Петербургского политехнического института и окончил его в 1916 году. С 1917 года он работает в Одесском порту, а в 1923 году переезжает в Петроград.

В 1924 году Житков начинает печататься и вскоре становится профессиональным писателем. В своих произведениях писатель ставит непростую задачу – донести до детей полезные сведения и воспитать в них лучшие человеческие качества. Огромный жизненный опыт и познания во многих отраслях деятельности отразились в произведениях писателя – морских повестях, пьесах, сказочных повестях, научно-художественных книгах. Житков также создал замечательную детскую энциклопедию «Что я видел» – первоначально он назвал её «Почемучкой» – в ней он постарался доступно и интересно ответить на все многочисленные вопросы, которые задают взрослым маленькие «почемучки». К несчастью, эта книга стала последней для писателя, она была опубликована посмертно в 1939 году.

Галка

У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давалась гладить, улетала на волю и назад прилетала.

Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, поглядела: где колечко? А колечка нет.

Она крикнула брату:

– Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?

– Ничего я не брал, – ответил брат.

Сестра поссорилась с ним и заплакала. Бабушка услыхала.

– Что у вас тут? – говорит. – Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду.

Бросились все искать очки – нет очков.

– Только что на стол их положила, – плачет бабушка. – Куда им деться? Как я теперь в иголку вдену?

И закричала на мальчика:

– Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?

Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит – а над крышей

галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся – да это очки! Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать.

Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику:

– Говори, где мои очки!

– На крыше! – сказал мальчик.

Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко. А потом достал стёклышек, а потом разных денежек много штук. Обрадовалась бабушка очкам, а сестра – колечку и сказала брату:

– Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка.

И помирилась с братом.

Бабушка сказала:

– Это всё они, галки да сороки. Что блестит, всё тащат.

Л. Пантелеев (1908–1987)

Л. Пантелеев (настоящее имя Алексей Иванович Еремеев) родился в Санкт-Петербурге в семье казачьего офицера. В 8 лет юного Алёшу отдали во 2-е Петроградское реальное училище, которое он, как и все остальные учебные заведения, в которые поступал, не окончил. Каждый раз ему мешала его неугомонная авантюрная натура, она не позволяла ему надолго задерживаться на одном месте. Лишь литературному творчеству Пантелеев не изменял никогда. Первые свои «серьёзные» произведения он написал в 8–9 лет.

После революции отец его пропал без вести, а мать увезла детей в Ярославскую губернию, подальше от бедствий и нищеты. Однако долго мальчик там не выдержал и в 1921 году вернулся в Петроград. Здесь ему пришлось пережить многое: голод, нищету… Наконец он попал в школу для беспризорников. Но здесь он тоже долго не задержался – он отправился в Харьков, где поступил на курсы киноактёров, но потом оставил и это занятие. Некоторое время он жил бродягой, но потом опять вернулся в Петроград. Здесь он познакомился и общался с другими литераторами: С. Маршаком, Е. Шварцем, К. Чуковским.

Во время войны писатель остался в осаждённом Ленинграде и продолжал работать. Во время блокады он едва не умер от голода, и в июле 1942 года А.А. Фадеев вывез тяжелобольного Л. Пантелеева на самолёте в Москву. Снова писатель приезжает в родной город в январе 1944 года в канун снятия блокады и разгрома немцев под Ленинградом. После войны произведения

Пантелеева очень популярны: их не только печатают, но и экранизируют.

Честное слово

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живёт, и кто его папа и мама. В потёмках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застёгиваются где-то на животе.

Как-то летом я зашёл в садик – я не знаю, как он называется, – на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер.

Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошёл к выходу.

Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.

Я боялся, что сад закроется, и шёл очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет.

Я свернул на боковую дорожку – там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах, – какая-то будка или сторожка. А около её стены стоял маленький мальчик, лет семи или восьми, и, опустив голову, громко и безутешно плакал.

Я подошёл и окликнул его:

– Эй, что с тобой, мальчик?

Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал:

– Ничего.

– Как это – ничего? Тебя кто обидел?

– Никто.

– Так чего же ты плачешь?

Ему ещё трудно было говорить, он ещё не проглотил всех слёз, ещё всхлипывал, икал, шмыгал носом.

– Давай пошли, – сказал я ему. – Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.

И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдёрнул руку и сказал:

– Не могу.

– Что не можешь?

– Идти не могу.

– Как? Почему? Что с тобой?

– Ничего, – сказал мальчик.

– Ты что, нездоров?

– Нет, – сказал он, – здоров.

– Так почему ж ты идти не можешь?

– Я – часовой, – сказал он.

– Как часовой? Какой часовой?

– Ну что вы – не понимаете? Мы играем.

– Да с кем же ты играешь?

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:

– Не знаю.

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик всё-таки болен и что у него голова не в порядке.

– Послушай, – сказал я ему. – Что ты говоришь? Как же это так: играешь и не знаешь с кем?

– Да, – сказал мальчик, – не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть. Мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик… он маршал был… он привёл меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад – в этой будке. А ты будешь часовой… Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдёшь».

– Ну?

– Ну, я и сказал: «Честное слово, не уйду».

– Ну и что?

– Ну и вот: стою-стою, а они не идут.

– Так, – улыбнулся я. – А давно они тебя сюда поставили?

– Ещё светло было.

– Так где же они?

Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:

– Я думаю: они ушли.

– Как – ушли?

– Забыли.

– Так чего ж ты тогда стоишь?

– Я честное слово сказал…

Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось – хоть лопни. А игра это или не игра – всё равно.

– Вот так история получилась! – сказал я ему. – Что же ты будешь делать?

– Не знаю, – сказал мальчик и опять заплакал.

Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог

сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сейчас найдёшь, этих мальчишек! Они уже небось поужинали, и спать легли, и десятые сны видят.

А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось…

– Ты, наверно, есть хочешь? – спросил я у него.

– Да, – сказал он, – хочу.

– Ну, вот что, – сказал я, подумав. – Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.

– Да, – сказал мальчик, – а это можно разве?

– Почему же нельзя?

– Вы же не военный.

Я почесал затылок и сказал:

– Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник…

И тут мне вдруг в голову пришла мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный, так в чём же дело? Надо, значит, идти искать военного.

Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку», – а сам, не теряя времени, побежал к выходу…

Ворота ещё не были закрыты, ещё сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик.

Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдёт ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то чёрные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошёл высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелёными нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему.

Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел – за углом, на трамвайной остановке – защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, ещё никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову я побежал к остановке. И вдруг, не успел добежать, вижу: к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон.

Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал:

– Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор!..

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:

– В чём дело?

– Видите ли, в чём дело, – сказал я. – Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик… Он не может уйти, он дал честное слово… Он очень маленький… Он плачет…

Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке.

– При чём же тут я? – сказал он.

Трамвай его ушёл, и он смотрел на меня очень сердито. Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чём дело, он не стал раздумывать, а сразу же сказал:

– Идёмте, идёмте. Конечно. Что же вы мне сразу не сказали?

Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на ворота замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.

В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять – но на этот раз очень тихо – плакал.

Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:

– Ну, вот, я привёл начальника.

Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.

– Товарищ караульный, – сказал командир, – какое вы носите звание?

– Я – сержант, – сказал мальчик.

– Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.

Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:

– А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звёздочек…

– Я – майор, – сказал командир.

И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:

– Есть, товарищ майор: приказано оставить пост.

И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались.

И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.

Не успели мы втроём выйти из сада, как за нами хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в скважине ключ.

Майор протянул мальчику руку.

– Молодец, товарищ сержант! – сказал он. – Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания!

Мальчик что-то пробормотал и сказал:

– До свиданья.

А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке.

Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку.

– Может быть, тебя проводить? – спросил я у него.

– Нет, я близко живу. Я не боюсь, – сказал мальчик.

Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей.

А когда он вырастет… Ещё неизвестно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек.

Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.

И я ещё раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.

Камилл и учитель

Очень давно, когда ещё и тебя и меня на свете не было, и наших дедушек и бабушек ещё не было, жил на свете человек, полководец Марк Фурий Камилл.

Человек этот был римлянин. И больше всего на свете он любил свою родину – Рим. За родину он готов был отдать и свободу, и счастье, и богатство, и даже собственную жизнь. Только одного он, пожалуй, не мог бы отдать даже любимой родине – это своей совести. Человек он был честный, прямой, неподкупный. Сам был такой и от других тоже требовал честности и прямодушия.

А то, что он был удивительно храбрый и бесстрашный и не щадил своей жизни, – это не выдумка.

Вот послушай, что рассказывается о нём в одной старой книге.

Когда Камилл был ещё совсем молоденьким человеком, случилось ему принимать участие в одной стычке с врагами, в одной конной атаке. В бою он потерял и меч, и копьё, и дротик. И ему ничего не оставалось делать: или беги, или сдавайся в плен. А тут ещё, когда он остался без оружия, его ранили: тяжёлый вражеский дротик вонзился ему в левое бедро. Наверно, это было очень больно. Но Камилл даже не покачнулся, даже коня не придержал. Он выдернул из раны дротик и с этим чужим, окровавленным оружием в руке поскакал впереди своих войск добивать неприятеля.

За такую отвагу и храбрость римские граждане выбрали

Фурия Камилла своим военным трибуном, то есть самым главным начальником, или полководцем. И он до конца своей жизни командовал римскими войсками и водил их в походы. И всегда эти походы заканчивались поражением врагов и победой римлян.

Только один город долго и упорно не сдавался Камиллу.

Это был город Фалерия – главный город страны фалесков.

Город этот был хорошо укреплён. Его окружали высокие каменные стены. Да и сами фалески были народ боевой, храбрый, и сдаваться без боя, продавать задёшево свою жизнь и свободу они не хотели. И римляне, как ни бились, ничего не могли с ними поделать.

А в городе Фалерия проживал в это время один школьный учитель. И хотя была война, жители Фалерии, желая показать, что они не только не боятся, но и презирают врагов, нарочно не прекращали своих обычных занятий: работали, торговали, ходили в гости… И школьный учитель тоже, как всегда, занимался со своими ребятами – учил их читать и писать, обучал арифметике, фехтованию, пению и гимнастике.

Человек этот был изменник, предатель. Он очень любил деньги. И за деньги был готов продать и свою родину, и своих земляков.

И вот послушай, что он придумал, этот учитель.

Он стал устраивать со своими учениками ежедневные загородные прогулки. Каждое утро он стал выводить ребят за городскую стену. Сначала он прогуливал их недалеко, у самой стены, а потом стал водить всё дальше и дальше от города, всё ближе и ближе к римскому лагерю.

Дети сначала побаивались немножко, ведь они знали, что где-то тут поблизости стоят страшные римские войска. Но потом постепенно они привыкли и даже полюбили эти таинственные утренние прогулки. Время было весеннее, в городе пыльно, жарко, а тут и цветы, и бабочки, и ручейки журчат… Тут и побегать можно, и пошуметь, и поиграть, и подраться.

Учитель, конечно, покрикивал на них. Он говорил, чтобы они не шумели и не отставали. Иногда он нагибался и срывал цветы и объяснял им, какой цветок как называется: вот это фиалка, это роза, а это вот простенький полевой цветок лютик.

Он говорил о цветах, о бабочках, о природе, а сам в это время обдумывал свой хитрый предательский план.

И вот однажды он вывел детей за городскую стену и повёл их к римскому лагерю.

Дети не знали, куда их ведут, и шли, как всегда, спокойно, ни о чём плохом не думая и ничего не подозревая.

И вдруг из кустов им навстречу выбежали римские воины:

– Стой! Кто такие? Куда?

Дети перепугались, стали кричать и плакать. И тогда солдаты, увидев, что это хотя и фалески, но маленькие, и подумав, что они заблудились, решили их отпустить. Но учитель сказал:

– Нет, не надо нас отпускать. Ведите нас к Фурию Камиллу.

И солдаты повели их в лагерь.

А Камилл в это время сидел у себя в палатке на военном совете. И когда ему доложили, что привели фалесков, он очень обрадовался. Он подумал, что это пришли послы и что фалески решили сдаваться.

Но когда он вышел из палатки и увидел перед собой не почтенных и седовласых послов, а маленьких плачущих детей, он удивился и спросил:

– Что это такое? Почему здесь дети?

Учитель выступил вперёд, поклонился и сказал:

– Это я, почтенный Камилл, я, скромный и ничтожный фалесский учитель, привёл к тебе пленников.

– Пленников? – с усмешкой переспросил Камилл. – Да на что же мне эти пленники? Разве ты, учитель, не знаешь, что Камилл с детьми не воюет?

– Да, – сказал учитель. – Я знаю, что храбрый, великодушный и непобедимый Камилл не воюет с детьми. Но ты обрати внимание на то, что это дети самых знатных и богатых фалесков. Теперь ты можешь спокойно праздновать победу. Чтобы выручить своих детей, чтобы спасти их, наши фалески теперь уж обязательно сдадут тебе город. Вот тебе залог. Получи его.

И учитель ещё раз низко, до самой земли поклонился.

Он думал, что Камилл кинется его обнимать, расцелует и наконец наградит каким-нибудь драгоценным перстнем или мешком золотых либров.

Но Камилл выслушал его молча, нахмурился и долго стоял, ничего не отвечая. Потом он повернулся к своим солдатам и сказал:

– А ну-ка, друзья, разденьте, пожалуйста, этого человека.

Солдаты кинулись исполнять его приказание. Учитель побледнел, обратился к Камиллу и стал кричать:

– Что ты делаешь? Римлянин! Ты не понял меня!

Но с него уже сдирали его учительскую одежду.

– Теперь свяжите ему за спиной руки, – приказал Камилл.

Солдаты и это сделали.

– А теперь принесите сюда хороших прутьев.

Учитель задрожал и кинулся перед Камиллом на колени. Но Камилл даже не взглянул на него. Он обратился к детям и сказал

им:

– Молодые фалески, когда вы будете большими и вам придётся воевать с сильным и мужественным врагом, вспомните, что нужно всегда и во всех случаях полагаться на собственные силы, а не на злодейство других.

Дети, может быть, и не поняли, что он им сказал, ведь они были ещё совсем маленькие. Но хорошо, если бы ты понял и навсегда запомнил эти слова римского полководца.

– А теперь, – сказал Камилл, – гоните своего педагога домой. Вот вам для этого прутья. Возьмите каждый по прутику – и в добрый путь!..

Это уж даже и маленькие фалески поняли. Они живо расхватали принесённые солдатами прутья и с шумом и с песнями погнали своего ничтожного и недостойного учителя, как какого-нибудь гуся или поросёнка, домой, в город.

Когда фалески узнали о том, что сделал Камилл, они тотчас собрали совет и постановили: отдать город римлянам добровольно и без боя.

И когда фалесские послы, почтенные седовласые старцы, явились к Камиллу, они сказали ему:

– Не мечом и не силой ты победил нас. Ты не сломил наших каменных стен, но ты сокрушил наши сердца своим добрым и справедливым поступком.

И вот уже две с лишним тысячи лет прошло. Камилл давно умер. И дети его умерли, и внуки, и правнуки… А слава этого человека живёт. И рассказывать о нём очень приятно.

Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968)

Константин Георгиевич Паустовский родился 31 мая 1892 года в Москве. Его отец был служащим в управлении железной дороги, мать – дочь служащего на сахарном заводе. Семья Паустовского несколько раз переезжала с места на место, пока не обосновалась в Киеве. В семье будущего писателя любили искусство: много пели, играли на рояле, часто посещали театр. Учился Константин Паустовский в Киевской классической гимназии, у него были хорошие учителя, знавшие и любившие русскую словесность, историю и психологию. Паустовский много читал, увлекся сочинением стихов.

Обучаясь в последнем классе гимназии, Паустовский печатает свой первый рассказ в киевском литературном журнале.

В 1912 году он окончил гимназию, два года проучился в Киевском университете.

К тому времени будущий писатель довольно много поездил по стране, так как у его отца были бесплатные железнодорожные билеты.

В 1914 году Паустовский перевёлся в Московский университет и переехал жить в Москву. Первая мировая война заставила его прервать учёбу. Паустовский стал вожатым на московском трамвае, работал на санитарном поезде, развозя раненых из Москвы по глубоким тыловым городам. После гибели двух его братьев Паустовский вернулся в Москву к матери, но через некоторое время уехал оттуда. Он опять ездил по югу страны, затем переехал в Киев, много ездил по югу России, жил два года в Одессе, работая в газете «Моряк». Из Одессы Паустовский уехал на Кавказ. Жил в Сухуми, Батуми, Тбилиси, Ереване, Баку…

В 1923 году Паустовский вернулся в Москву. Он активно работает и как журналист, и как писатель.

Во время Великой Отечественной войны Константин Георгиевич был военным корреспондентом на Южном фронте, одновременно продолжая писать. В послевоенные годы к Паустовскому пришла мировая известность, что дало ему возможность много ездить по Европе. Писатель был в Болгарии, Польше, Чехословакии, Турции, Италии, Бельгии, Франции, Голландии, Англии, Швеции. Впечатления от этих поездок легли в основу множества его произведений.

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась чёрной, как дёготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звёзды.

У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять волков, – они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве, у костра, начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от неё шёл острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами пришёл на озеро мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночёвки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он всё замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, этот мальчик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины и переправлялись при свете ночной, небывалой радуги.

Мы делали вид, что верили ему.

Всё, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над чёрными озёрами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, – кто знает,

что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чёрными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжётся, но я опоздал – барсук прыгнул к сковородке и сунул в неё нос…

Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожжённый нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах – мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожжённый нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

С тех озеро – оно называлось раньше Безымянным – мы прозвали Озером Глупого Барсука.

А через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой

гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

Растрёпанный воробей

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молоток. Часы щёлкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить в девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришёл срок пробить по наковальне девять ударов.

Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснётся и погонит спать.

Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове – должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.

Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привёз этот букетик из какой-то далёкой страны.

Потом Машин отец ушёл на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием «Камчатка», и вернётся не скоро, только весной.

Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами.

– Вот, – прошептала мама, – ты и дождался.

– Чего дождался? – спросила Маша.

– Ты маленькая, ничего ещё не понимаешь, – ответила

мама. – Папа подарил мне этот букет и сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

– А вот я и поняла, – сказала сердито Маша.

– Что ты поняла?

– Всё! – ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблёскивал. Было так тихо, что казалось, всё спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и всё сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою тёплую песню, а зима всё сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого чёрного неба может слетать такой белый снег. И ещё было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу.

Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведёт Машу умываться.

Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковёр и оставляла на столе мокрые следы. Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплёскивала руками и кричала:

– Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

Маша тоже всплёскивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларёк и выдалбливают из щелей кусочки замёрзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обёртку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам

карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.

Однажды ворона застала в ларьке маленького растрёпанного воробья по имени Пашка.

Жизнь для воробьёв пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена – их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу Чичкин, – воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овёс высыпался из лошадиных торб на мостовую.

А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные – в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и весёлая.

«Раньше, – рассказывал Чичкин, – воробьи собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: «Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?»

А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летал облаками. Теперь таких драк нипочём не допустят…»

Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларёк и не успел ещё ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и завёл глаза: прикинулся мёртвым.

Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула – выбранилась на всё воробьиное вороватое племя.

Милиционер оглянулся и подошёл к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

– Эх ты, беспризорник! – сказал милиционер, снял варежку, засунул в неё Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. – Невесёлой жизни ты воробей!

Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы клюнуть какую ни на есть крошку! Но и у милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку.

Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:

– Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень.

Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

– Берите! С варежкой. А то удерёт. Варежку мне потом принесёте. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щёткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий – Пашка едва на нём удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне и наколотил одиннадцать раз.

Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая ворона и украла со стола копчёную рыбью голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклёвывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принёс ей замёрзшую рогатую гусеницу – нашёл её на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила её за окно. Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расчёску, карту – трефовую даму – и золотое перо от «вечной» ручки.

Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась.

Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела.

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно.

Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдётся стеклянный

букетик – если, конечно, дура-ворона не обронила его в снег.

Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букетике, нахохлился и задумался.

Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней. Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них – на деревья, пока не долетел до театра. Там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся. Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьёв, какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларёк, где был спрятан стеклянный бу-кетик.

Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларёк, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу.

Но ворона была учёная, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларёк. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа.

Прибежал милиционер. Он заглянул в ларёк и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

– Вот это да! – сказал милиционер. – Вот это рукопашный бой по уставу!

Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларёк и прекратить драку.

В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повёл ею, и под нарастающий гром музыки тяжёлый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую жёлтым солнцем, и богатых уродок-сестёр, и злую мачеху, и свою маму – худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

– Золушка! – тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.

Было очень хорошо, что музыка всё время только то и делала,

что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижёром. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.

И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими чёрными биноклями, – даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слёзы, – вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрёпанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

Он закружился над сценой, ослеплённый сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

Зал зашумел и стих. Дирижёр поднял руку и остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Дирижёр взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрёпанные в драке перья.

Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка – её мама.

А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

– Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

– Да, – ответила, помолчав, мама.

– А почему ты плачешь?

– Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.

– Вот и неправда! – пробормотала Маша. – От радости смеются.

– От маленькой радости смеются, – ответила мама, – а от большой – плачут. А теперь спи!

Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, всё прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.

Корзина с еловыми шишками (в сокращении)

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается зелёными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живёт, как птица пересмешник, весёлое эхо. Оно только и ждёт, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками – дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать всё золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал в горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

– Как тебя зовут, девочка? – спросил Григ.

– Дагни Педерсен, – вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

– Вот беда! – сказал Григ. – Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

– У меня есть старая мамина кукла, – ответила девочка. – Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у неё зеленоватые и в них поблёскивает огоньками листва.

– А теперь она спит с открытыми глазами, – печально добавила Дагни. – У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

– Слушай, Дагни, – сказал Григ, – я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

– Ой, как долго!

– Понимаешь, мне нужно её ещё сделать.

– А что это такое?

– Узнаешь потом.

– Разве за всю свою жизнь, – строго спросила Дагни, – вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

– Да нет, это не так, – неуверенно возразил он. – Я сделаю её, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

– Я не разобью, – умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. – И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с неё пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», – подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

– Ты ещё маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты её едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чём-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжёлая. В еловых шишках много смолы, и поэтому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

– Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

– Хагеруп, – ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: – Разве вы не зайдёте к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять её в руки.

– Спасибо! Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошёл в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из неё вываливались шишки.

«Я напишу музыку, – решил Григ. – На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен – дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене всё было по-старому.

Всё, что могло приглушить звуки, – ковры, портьеры и мягкую мебель – Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нём могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль.

Рояль мог петь обо всём – о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и чёрные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине ещё долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сёстрами. Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок…

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошёл снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык…

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с сияющими зелёными глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке.

«Спасибо!» – говорит она, сама ещё не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, – говорит ей Григ. – Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на солнце расцвёл белый цветок и наполнил всё твоё существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодёжи жизнь, работу, талант. Отдал всё без возврата. Потому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни…»

Григ думал так и играл обо всём, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается.

Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не

могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щёлку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол.

Около её босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из дома Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил её… погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал её ещё девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжёлыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится…

Магда работала театральной портнихой. Муж её Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. В комнате у тётушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шёлка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с чёрными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфортов с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потёртых на сгибе. Всё это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить…

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком для позолоты.

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим, тётушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене.

Но дядюшка Нильс… сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но всё же тётушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт…

Был тёплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть своё единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в чёрном и, наоборот, в тёмные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела чёрное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав – ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и её длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат…

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца…

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на неё странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал её имя.

– Это ты меня звал, Нильс? – спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на неё, прижав ко рту платок, тётушка Магда.

– Что случилось? – спросила Дагни.

Магда схватила её за руку и прошептала:

– Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

– Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвящённая дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у неё заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступившие к горлу слёзы, но

это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у неё шумела буря. Потом она наконец услышала, как поёт ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был её лес, её родина! Её горы, песни рожков, шум её моря!..

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке… Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила всё пространство между землёй и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась лёгкая рябь. Сквозь неё светили звёзды…

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту сторону, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы…

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты – счастье, – говорил он. – Ты – блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом всё разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на неё. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! – думала Дагни. – Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь!

С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы его за шею, прижалась мокрой от слёз щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» – «За что?» – спросил бы он. «Я не знаю… – ответила бы Дагни. – За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек…»

Евгений Андреевич Пермяк (1902–1982)

Евгений Пермяк – псевдоним Евгения Андреевича Виссова. Он родился 31 октября 1902 года в Перми. В честь этого города писатель своей настоящей фамилии предпочел псевдоним Пермяк.

Отец Евгения Виссова, мелкий почтовый служащий, скончался от чахотки, когда сыну было три года. Матери было нелегко одной воспитывать сына, поэтому большая часть его детских лет прошла в Воткинске, в обществе бабушки, деда и сестры матери, окруживших мальчика заботой, теплотой и вниманием.

В Воткинске Женя учился в церковно-приходской школе, прогимназии и гимназии, где наряду с образовательными дисциплинами велось и производственное обучение. Виссов освоил пять ремёсел: столярное, слесарное, сапожное, кузнечное и токарное. В Воткинске молодой человек взялся за перо. Его первые рабселькоровские заметки и стихи были подписаны псевдонимом «мастер Непряхин».

В 1930 году Евгений Пермяк окончил педагогический факультет Пермского университета. Вскоре он переехал в Москву, начав писательскую карьеру в качестве драматурга. Его пьесы «Лес шумит» и «Перекат» шли практически во всех театрах страны. В годы Великой Отечественной войны Пермяк вместе с московскими литераторами находился в Свердловске. В это время он очень подружился с Павлом Петровичем Бажовым.

Книги Евгения Пермяка переведены на многие языки, издавались во многих странах. Он награждён двумя орденами, медалями.

Некрасивая Ёлка

В датском говорящем лесу росли датские говорящие деревья. Они разговаривали только по-датски. В жаркие солнечные дни, изнемогая от зноя, деревья перешёптывались друг с другом так тихо, что даже чуткие птицы не могли разобрать, о чём они шепчутся. Зато как только поднимался ветер, в лесу начинался такой шумный разговор, что его без труда мог услышать всякий.

Самой болтливой в лесу была Осина. Её голос, звенящий одиннадцатью тысячами листочков, не умолкал и в полдень. Осина любила позлословить, как, впрочем, и Берёза. А Ёлка наоборот. Ёлка была на редкость молчалива и задумчива. Она в отличие от своих стройных и красивых сестёр росла не очень красивой. Даже, скажем прямо, совсем некрасивой: однобокой и

кривой.

Ёлку не любили её лесные собратья, хотя ни одному из них она не сделала ничего дурного. Она не затеняла им солнца, не лишала их влаги, не шелестела, как Дуб или Ясень. Вообще она вела себя очень скромно. Но деревья усвоили отвратительную манеру отношения друг к другу – по внешности. По одёжке. По красоте ветвей и строению кроны. А Ёлка была дурнушкой. Это и послужило поводом для насмешек самовлюблённого Ясеня, молодого красавца Клёна и Берёзы с изысканно тонкими ветвями.

Не любили они Ёлку и потому, что ей оказывал особое внимание Сказочник, пользовавшийся большим уважением в лесу. Он часто садился под елью со своими тетрадями и писал сказки или задумчиво мечтал.

Почему он предпочитал именно её тень, никто не знал, но болтали в лесу разное.

Ясень говорил, что Сказочник, так же как и Ёлка, одинок, некрасив и долговяз, Клён находил, будто Ёлка специально для Сказочника осыпает мягкие иглы, чтобы ему было удобнее сидеть под нею. Берёза городила такое, что лучше не повторять этого. И вообще мы не должны брать на себя роль Ветра, который разносит нелепые лесные слухи. К тому же нам давно пора приступить к главному и начать с того, как в лес однажды пришли лесорубы и срубили старый Дуб и как в лесу раздался громкий плач. Плакали дети, внуки, племянники и друзья старого Дуба.

Им казалось, что уже всё кончено. И особенно после того, как старый Дуб был распилен на кряжи[26] и увезён из леса.

Когда дубовая родня оплакивала свежий пень, появился Сказочник. Ему тоже было жаль, что в лесу не стало зелёного богатыря, трёхсотлетнего Дуба. И его слеза капнула на срез пня.

Но слёзы никогда не помогают горю. Зная об этом, он решил рассказать сказку о том, во что иногда превращаются деревья, когда их увозят из леса.

– Господа, – сказал он по-датски, обращаясь к деревьям, – не угодно ли вам прослушать сказку о вашем завтрашнем дне?

В говорящем лесу стало тихо. Деревья насторожили свои листья и стали слушать.

– Никому из вас, как, впрочем, и мне, – начал Сказочник, – не хочется покидать этот прекрасный лес. Но не все, уходя из него, перестают жить. Не все, оказавшись срубленными, умирают.

Лес зашумел и насупился. Начало сказки деревьям показалось не более чем утешительным враньём. Сказочник подал знак. В лесу стало снова тихо.

– А известно ли вам, господа, что Дуб проживёт еще сотни и

сотни лет, когда он станет дубовым резным потолком библиотеки? А он станет именно им. Так ли уж плохо это, господа деревья?

Деревья одобрительно зашелестели. Теперь Сказочник, завладев вниманием слушающих, спокойно уселся на золотой ковёр мягкой еловой осыпи и стал говорить о том, как снова придут в лес лесорубы и спилят созревшие деревья, не давая им сгнить на корню и превратиться в ничто. Спиленные деревья станут домом, мостом, музыкальными инструментами, мебелью или паркетным полом, чтобы жить и служить поколениям.

– Так ли уж это плохо, господа? – сказал он и продолжил сказку о том, как одна мечтательница Сосна превратилась в корабельную мачту и побывала в Индии, Китае, на Курильских островах… Стал рассказывать, как одна Осина стала тридцатью тремя корытами.

– Превращение в корыта хотя и не так заманчиво, – сказал он, – но всё же стать корытом лучше, чем никем, ничем и ни для кого.

– Это верно, – заметила слегка обиженная Осина, – превратиться в корыта куда приятнее, нежели стать дровами. Да, дровами, – повторила она, покосившись на некрасивую Ёлку и окидывая её неприязненным взглядом от корня до вершины.

Заметив этот взгляд, самовлюблённый Ясень спросил Сказочника:

– А почему бы вам не рассказать о еловых дровах?

– Вот именно, – поддержал надменный Клён. – Это бы вселило радужные надежды одной нашей общей знакомой.

Сказочник смутился. Ему не хотелось огорчать некрасивую Ёлку. Он любил её. Он жалел её. Но правда выше любви и жалости.

– Господа, – тихо сказал Сказочник, – разве уж так плохо сгореть для других? Ведь должен же кто-то своим огнём радовать детей и согревать их в зимнюю стужу. Должен же кто-то выпекать хлебы и плавить металл.

– Да, конечно, конечно, господин Сказочник, кто-то должен это делать, – подтвердил Ясень. – Но согласитесь, что всё-таки лучше стать полированным столом или буфетом, нежели золой и пеплом.

– Хотя, – усмехнулась Берёза, – зола тоже на что-то нужна. Ею, кажется, чистят кастрюли и посыпают тротуары. Так ли уж это плохо, господа? – прошелестела она, издевательски повторяя фразу Сказочника.

Деревья дружно захохотали. Сказочник снова умолк, а затем, коснувшись рукой Ели, сказал в раздумье:

– Впрочем, никто не знает, как может повернуться судьба. Одни, собираясь жить в веках, забываются ранее, чем увядают цветы на их могилах. Другие, живя скромно и тихо, ни на что особенное не рассчитывая, не думают о бессмертии, а оно, несмотря на это, приходит само. Не отчаивайтесь, некрасивая Ёлка! Как знать, может быть, всё будет по-другому.

С тех пор прошло много лет. Деревья выросли и возмужали. Под некрасивой Ёлкой жили муравьи. Сказочник давно уже не появлялся в лесу, и, как сообщил Ветер, Ель больше никогда не укроет его прохладной и ласковой тенью своих ветвей. Два лесоруба – Время и Возраст – сделали своё дело.

– М-да! – сказал Ясень. – Хотя он и ярко горел… хотя нам от него было тепло и радостно, все же он сгорел, как сгорают дрова.

– Вот именно, – подтвердил Клён, ставший ещё выше и надменнее. – Если выражаться образно, то он был среди людей не более чем некрасивая Ёлка. То ли дело мы! Мы – ценные деревья. Мы можем превратиться во что угодно: и в спальню королевы, и в трон короля.

Ёлка молча слушала хвастливые, самодовольные рассуждения, и тонкие струйки смолы катились по её шершавой коре. Ёлка не переставала верить, что она встретится со Сказочником и услышит знакомые слова любимых сказок.

Но напрасно. С ним можно было теперь встречаться только во сне. Поэтому Ёлка часто дремала, надеясь увидеть золотой сон. А он не приходил. Зато пришли лесорубы.

Лесорубы спилили созревшие деревья, и каждое из них получило своё назначение. У поваленной Сосны обрубили ветки и верхушку, затем доставили её на корабельную верфь. Она будет мачтой.

Ясень, Клён и Берёза были отправлены на мебельную фабрику. Осину предназначили для корыт.

Дошла очередь и до некрасивой Ёлки. Её распилили на мелкие чурбаки.

«Так и есть, – подумала Ёлка, – я стала дровами. Теперь мне только остаётся сгореть так же ярко, как сгорели вы, дорогой друг, озаряя нас волшебным светом своих сказок».

Готовясь отправиться в топку котла или камина, Ёлка забыла слова Сказочника о том, что «никто не знает, как может повернуться судьба».

Судьба Ёлки повернулась самым неожиданным образом. Ёлка попала на бумажную фабрику и превратилась в ослепительно белые, тонкие, плотные листы бумаги.

Теперь перед нею открылись тысячи возможностей. Она могла стать конвертами и совершать на всех видах транспорта

почтовые путешествия. Она могла оказаться газетой или географической картой. Она могла стать нарядной театральной афишей и зазывать людей на представление.

Мало ли куда идёт бумага… Но не будем, однако, строить предположения. Всё оказалось куда лучше, чем может нарисовать самое пылкое воображение.

Ёлку отправили в типографию, и там она стала превращаться в книгу. В какую? Книга книге рознь. А она стала превращаться в прекрасную книгу сказок. Это она почувствовала тотчас, как на ней появились чётко отпечатанные блестящей чёрной краской дорогие её сердцу слова…

Это были сказки, слышанные ею в дни юности в говорящем лесу.

– Неужели мы с вами встретились снова? – сказала Ёлка, ставшая бумагой, и увидела Сказочника.

Он появился на первой странице – отпечатанным великолепными портретными красками.

– Теперь я вижу, – сказала она, – что не все, оказавшись срубленными, умирают. Мы стали жить с вами книгой сказок.

Искусные руки переплётчика стали одевать книгу в нарядную одежду с золотой отделкой и затейливым тиснением.

Как она красива была теперь! На неё можно было любоваться часами, читать и слушать сутками напролёт. Её бережно брали и очень осторожно листали. Сказки смешили и радовали. Сказки учили мудрости, возвышали души, согревали сердца, будили ненависть к злу и утверждали светлое.

Вскоре Ёлка, став книгой, очутилась на серебристой берёзовой полке в самом лучшем ясеневом шкафу библиотеки.

Она сразу узнала этот шкаф. Он оказался таким же самовлюблённым, каким рос в сказочном говорящем лесу. Ясеневый шкаф очень громко хвалился своей новой жилицей на центральной полке:

– Видишь ли ты, Кленовый стол, какое сокровище живёт во мне?

– Да, – ответил Кленовый стол. – Какие мы благородные деревья!

– Как бы позавидовала нам та некрасивая Ёлка, – обрадовалась Берёзовая полка, – как бы позавидовала она, если б могла увидеть, во что мы превратились! С какой отличной книгой живём мы теперь в соседстве! Что ты скажешь на это, старый Дуб? – обратилась Берёзовая полка к резному потолку.

Мудрый резной потолок хитро усмехнулся с высоты своими замысловатыми узорами и, не проронив ни единого слова, застыл в своей изумительной орнаментальной улыбке.

Он, видимо, всё понял.

Теперь у Ёлки были все основания произнести сокрушительную отповедь по адресу Клёна, Ясеня и некоторых других, глумившихся над нею. Но она ничего не сказала, потому что это была добрая, великодушная, настоящая ёлка. А она могла бы сейчас отчитать их не только по-датски, но и по-английски, и по-немецки, и по-русски, и по-французски. Потому что всемирно известная книга датского сказочника разговаривала на всех языках мира. Даже на тех, которые пока ещё не имеют букв и грамматики. Она сумела бы их отчитать и на этих языках…

Но разве счастье в торжестве низменной страсти возмездия? Это жалкая радость слабых. Ради этого не стоило рассказывать сказку о бессмертии прекрасного.

Вот и всё.

Мама и мы

Если обо всём своём детстве говорить недели, пожалуй, мало будет. А так, кое-что – пожалуйста. Вот, например, случай был…

Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенной газеты. Когда мы вышли, уже смеркалось. Было тепло. Падал крупный пушистый снег. Видимо, поэтому Тоня и Лида дорогой танцевали танец снежинок. Мой младший брат, ожидавший меня, чтобы идти вместе, подсмеивался над ними:

– Скачут, как первоклассницы!

Снег падал всё гуще и гуще. Танцевать стало нельзя. Снегу навалило до половины валенка.

– Не заблудиться бы! – предупредил нас, на правах самого дальновидного, мой младший братец.

– Да ну тебя, трусишка! – отозвалась Лида. – Через пятнадцать минут будем дома.

Снегопад между тем усиливался. Забеспокоился и я, зная, как жестоки наши степные сибирские метели. Случалось, что люди теряли дорогу, находясь близ своего дома. Я посоветовал прибавить ходу, но этого сделать уже было нельзя по глубокому слою снега, покрывшему дорогу.

Стало ещё темнее. Наступила какая-то белая снежная темнота. А потом началось то, чего я опасался. Снежинки вдруг закружились… Закружились в таком танце, что через несколько минут началась настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой буран.

Девочки закутали лица платками. Мы с Федей опустили у шапок уши. Узенькая дорожка, которая вела в наше сельцо, то и дело исчезала под ногами. Я шёл первым, стараясь не потерять

под ногами дорожный накат. До дому оставалось менее версты. Я верил, что мы выберемся благополучно.

Напрасно.

Дорога исчезла. Будто её из-под ног украл кто-то очень недобрый из сказки моей бабушки. Может быть, Шальная Метелица… может быть, злой старик Буран Буранович.

– Вот, я же говорил! – упрекнул нас Федя.

Лида ещё бодрилась, а Тоня почти плакала. Она уже побывала в пурге со своим отцом. Она ночевала в снежной степи. Но тогда в санях был запасной тёплый тулуп, и Тоня, укрытая им, благополучно проспала ночь. А теперь?

Теперь мы уже выбивались из сил. Я не знал, что делать дальше. Снег таял на моём лице, и лицо от этого обледеневало. Ветер свистел на все лады. Чудились волки.

И вдруг в вое ветра я услышал спокойный голос матери:

«Кого ты испугался? Пурги? Тебе хочется кричать?! Кто тебя услышит при таком ветре! Может быть, ты надеешься, что вас найдут собаки? Зря. Какая собака пойдёт в степь при такой погоде! У тебя осталось только одно: зарыться в снег».

Я так отчётливо слышал голос моей матери, отлично зная, что маминым голосом я разговариваю сам с собой, в моём воображении. И я сказал:

– Мы сбились с дороги. Мы можем выбиться из сил и замёрзнуть. Давайте зарываться в снег, как это делают кочевники.

Видимо, я объявил об этом так твёрдо, что никто не возразил мне. Только Тоня плачущим голосом спросила:

– А как?

И я ответил:

– Так же, как куропатки.

Сказав так, я первым начал рыть колодец в глубоком февральском снегу. Я его начал рыть сначала школьной сумкой, но сумка оказалась толста; тогда я вынул из сумки географический атлас в прочном картонном переплёте. Дело пошло быстрее. Меня сменил брат, потом Тоня.

Тоня даже развеселилась:

– Тепло как! Попробуй, Лидочка. Разогреешься.

И мы стали поочерёдно рыть колодец в снегу. После того как колодец достиг нашего роста, мы стали прорывать пещерку в его снежном боку. Когда метель заметёт колодец, мы окажемся под снежной крышей вырытой пещерки.

Вырыв пещерку, мы стали размещаться в ней. Ветер вскоре замёл снегом колодец, не задувая в пещерку. Мы оказались под снегом, как в норе. Будто тетерева. Ведь и они, бросаясь с дерева в сугроб и «утонув» в нём, потом проделывают подснежные ходы

и чувствуют себя там самым великолепным образом.

Усевшись на школьные сумки, согревая своим дыханием маленькое пространство нашей каморки, мы почувствовали себя довольно уютно. Если бы ко всему этому ещё оказался огарок свечи, мы могли бы видеть друг друга.

У меня был с собой кусок свиного сала, оставшийся от завтрака. И, если бы были спички, я бы сделал фитиль из носового платка, и у нас бы появился светильник. Но спичек не было.

– Ну вот, мы и спаслись, – сказал я.

Тут Тоня неожиданно объявила мне:

– Коля, если ты захочешь, я подарю тебе моего Топсика.

Топсиком назывался ручной суслик.

Суслик мне был не нужен. Я ненавидел сусликов. Но мне было очень приятно Тонино обещание. Я понимал, чем вызван этот щедрый порыв души. Да и все понимали. Не зря же Лида сказала:

– Ты, Николай, теперь у нас сила! Мужчина!

В её голосе я снова услышал голос мамы. Видимо, в каждой женщине, даже если ей всего только двенадцать лет, есть какая-то материнская хитринка, подбадривающая мужчину, если этому мужчине тоже только двенадцать лет.

Я почувствовал себя в самом деле сильным и стал рассказывать бабушкины сказки. Я их стал рассказывать потому, что боялся уснуть. А когда я усну – уснут и остальные. А это было опасно. Можно замёрзнуть. Одну за другой я рассказал, наверное, тридцать, а может быть, и больше сказок. Когда же вышел весь запас бабушкиных сказок, я стал придумывать свои. Но, видимо, придуманные мною сказки были скучными. Послышался лёгкий храпоток.

– Кто это?

– Это Тоня, – ответила Лида. – Она уснула. Мне тоже хочется спать. Можно? Я вздремну только одну минуточку.

– Нет, нет! – запретил я. – Это опасно. Это смертельно опасно.

– Почему же? Смотри, как тепло!

Тут я нашёлся и соврал так удачно, что после этого никто не пожелал даже дремать. Я сказал:

– Волки нападают на спящих. Они только того и ждут, чтобы услышать, как храпит человек.

Сказав так, я привёл уйму случаев, выдумываемых мною с такой быстротой, что даже не верится сейчас, как это я мог…

Теперь рассказывали другие. По очереди.

Время шло медленно, и я не знал, полночь сейчас или, может быть, уже брезжит рассвет. Колодец, вырытый нами, давно замела

пурга.

Пастухи-кочевники, оказываясь в таком же положении, выставляли из снега высокий шестик. Они специально брали его в степь на случай бурана, чтобы потом их можно было найти, отрыть.

У нас не было шеста, и нам не на что было надеяться. Только на собак. Но и они бы не учуяли нас сквозь толщу снега.

Моё сало давно было разделено и съедено, как и Лидин ломоть хлеба.

Всем казалось, что уже наступило утро, и хотелось верить, что пурга кончилась. А я боялся прорываться наверх. Это значило забить снегом пещерку, вымокнуть и, может быть, очутиться снова в белой снежной мгле. Но каждый из нас понимал, какое беспокойство мы причинили всем. Нас, может быть, ищут, кличут в степи… И я представил свою маму, которая кричит сквозь ветер:

«Колюнька… Федюнька… Отзовитесь!..»

Подумав об этом, я стал прорываться наверх. Снежная крыша над нами оказалась не столь толста. Мы увидели бледнеющую луну и гаснущие звёзды. Занималась какая-то сонливая, словно невыспавшаяся, бледная заря.

– Утро! – крикнул я и стал проделывать ступени в снегу, чтобы выбраться остальным.

С неба сыпались запоздалые снежинки. Я сразу же увидел наш ветряк[27]. Дым из труб поднимался тонкими, будто туго натянутыми струнами. Люди проснулись. А может быть, они и не спали в эту ночь…

Вскоре мы увидели наших ребят. Они обрадованно бежали к нам и кричали:

– Живые! Все четверо! Живые!

Мы бросились к ним навстречу. Я не стал медлить и слушать, что рассказывали об этой ночи, обо мне Тоня и Лида. Я побежал к нашему домику.

Саней на дворе не было – значит, отец ещё не вернулся. Открыв дверь, далеко оставив за собой Федюньку, я бросился к маме. Бросился и… что было, то было… и заплакал.

– Да о чём ты? – спросила мать, утирая мне слёзы передником.

И я сказал:

– О тебе, мама… Ты, наверное, голову потеряла без нас.

Мать усмехнулась. Освободилась из моих объятий и подошла к кроватке Леночки. Это наша младшая сестра. Подошла и поправила одеяльце. И сказала ей: «Спи». Хотя та и без того спала и одеяльце незачем было поправлять. Потом она подошла к подоспевшему Федюньке и спросила:

– Валенки не промокли?

– Нет, – ответил он. – Под валенками атлас был. Полушубок вот подмок. Есть я хочу…

– Переобувайтесь да живо за стол, – сказала мать, ничего не спросив о минувшей ночи.

«Да любит ли она нас? – впервые подумал я. – Любит ли? Может, эта ревунья Леночка у неё один свет в глазу?»

Когда мы съели по две тарелки горячих щей, мать сказала:

– Я постлала, ложитесь. В школу не пойдёте. Нужно выспаться.

Я не мог уснуть, а спать хотелось. Я пролежал до полудня в тёмной горнице, с закрытыми ставнями.

Нас позвали обедать. Приехал отец. Он уже знал всё от Лиды и Тони. Он хвалил меня. Обещал мне купить маленькое, но настоящее ружьё. Он удивлялся моей находчивости.

А мать?..

Мать сказала:

– Парню тринадцатый год. И смешно было бы, если бы он растерялся в метель да себя с товарищами не спас.

– Анюта!.. – укоризненно заметил отец матери.

А мама перебила отца и сказала:

– Ешь давай! Каша стынет. Хватит разговоры разговаривать! За уроки им браться надо. Ночь пробродяжничали, день потеряли…

После обеда Тоня принесла мне Топсика. Я не взял его.

Лидина мать, Марфа Егоровна, явилась с большим гусаком и, низко поклонившись матери, сказала:

– Спасибо тебе, Анна Сергеевна, что такого сына вырастила! Двух девок спас. У Тоньки-то сёстры есть, а Лидка-то ведь у меня одна…

Когда Марфа Егоровна кончила свои причитания, мама сказала:

– Как тебе не стыдно, Марфа, моего недотёпу Кольку героем выставлять! – И, повернувшись, наотрез отказалась взять гусака.

Вечером мы остались с бабушкой вдвоём. Мать ушла на станцию, к фельдшеру. Сказала, что угорела – болит голова.

С бабушкой мне всегда было легко и просто.

Я спросил её:

– Бабушка, хоть ты скажи мне правду: за что нас так не любит мать? Неужели мы в самом деле такие несто́ящие?

– Дурень ты, больше никто! – ответила бабушка. – Мать всю ночь не спала. Ревела как умалишённая. С собакой по степи вас искала. Колени обморозила… Только ты ей, смотри, об этом ни гугу! Какова она есть, такую и любить надо. Я её люблю…

Вскоре вернулась мать. Она сказала бабушке:

– Фельдшер дал порошки от головы. Говорит, чепуха. Через месяц пройдёт.

Я бросился к матери и обнял её ноги. Сквозь толщу юбок я почувствовал, что её колени забинтованы. Но я даже не подал виду. Я никогда ещё не был так ласков с нею. Я никогда ещё так не любил свою мать. Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки.

А она всего лишь, как бы между прочим, будто телёнка, погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. Видимо, стоять ей было трудно.

В холодной холе растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. Далеко смотрела она. И худого из этого не получилось. Федюнька теперь дважды Герой. И про себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-настрого завещано как можно меньше говорить о себе.

Хитрый коврик

Умной Машенька росла, да не всё понимала.

Пошла она как-то в лес и ужалилась о Крапиву.

– Ах ты такая-сякая, колючая. Зачем только ты на свете живёшь? Один вред от тебя!

А Крапива рассмеялась на это и сказала:

– Так и о пчеле можно только по жалу судить. А пчела ведь ещё и мёд даёт.

Тут Маша как крикнет на весь лес:

– Да как ты можешь, бездельница, себя с пчелой-труженицей сравнивать!

– Вот что, – говорит Крапива, – приходи сюда осенью, я тебе ума-разума добавлю.

Не верилось Машеньке, что у Крапивы можно ума набраться, но пришла. А вдруг Крапива что-то дельное скажет? А Крапива пожелтела по осени. Состарилась. Голос у неё стал скрипучий, жёсткий.

– Добудь, Машенька, рукавички, – говорит Крапива, – да выдергай меня и свяжи в пучки.

Надела Машенька рукавички, выдергала Крапиву и связала в пучки.

– А теперь, – говорит Крапива, – вымочи меня в речке и потом подсуши.

Вымочила Маша Крапиву, подсушила и снова спрашивает:

– Ещё что придумаешь?

– Теперь, – говорит Крапива, – ломай мои стебли, мни,

выколачивай из них лишнее. А дальше увидишь…

Опять Машенька сделала всё то, что Крапива просила, и получилось длинное, прочное крапивное волокно.

Задумалась Маша, а потом решила: коли есть волокно, из него можно нитки спрясть. Спряла Маша нитки и снова задумалась. Думала, думала и решила из ниток коврик выткать. Выткала она коврик и вышила на нём молодую весёлую крапиву. Повесила коврик на стенку и сказала:

– Спасибо тебе, Крапива, что ты мне ума-разума добавила. Теперь-то уж я знаю, что не всё на свете пустое да негодное, что пустым да негодным кажется.

И стала с тех пор Маша обо всём думать, во всё вникать, везде, в каждой мелочи для людей пользу выискивать.

Андрей Платонович Платонов (1899–1951)

Родился в августе 1899 года в рабочем пригороде Воронежа. Был старшим сыном в семье слесаря железнодорожных мастерских. Учился в церковно-приходской школе, в 1914 году вынужден был оставить учебу и пойти работать. До 1917 года сменил несколько профессий: был подсобным рабочим, литейщиком, слесарем и т. п. По словам Платонова, «жизнь сразу превратила меня из ребёнка во взрослого человека, лишая юности».

В 1918 году Платонов поступил в Воронежский железнодорожный политехникум, реализовав проявившийся в нём с детства интерес к машинам и механизмам. Некоторое время, прервав учёбу, работал помощником машиниста.

С 12 лет Платонов писал стихи. В 1918 году начал работать журналистом в воронежских газетах. С этого времени Платонов становится одним из самых заметных литераторов Воронежа.

В 1926 году переселился в Москву, а с 1927 года целиком отдался литературному труду.

В годы Отечественной войны Платонов работал фронтовым корреспондентом газеты, писал рассказы на военную тему. Умер Платонов в Москве 5 января 1951 года. Многие произведения Платонова были опубликованы только после его смерти.

Ещё мама

– А я, когда вырасту, я в школу ходить не буду! – сказал Артём своей матери, Евдокии Алексеевне. – Правда, мама?

– Правда, правда, – отвечала мать. – Чего тебе ходить!

– Чего мне ходить? Ничего! А то я пойду, а ты заскучаешь по

мне. Не надо лучше!

– Не надо, – сказала мать, – не надо!

А когда прошло лето и стало Артёму семь лет, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артём хотел было уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из её руки; рука у матери теперь была твёрдая, а прежде была мягкая.

– Ну что ж! – сказал Артём. – Зато я домой скоро приду! Правда, скоро?

– Скоро, скоро, – ответила мать. – Поучишься чуть-чуть и домой пойдёшь.

– Я чуть-чуть, – соглашался Артём. – А ты по мне дома не скучай!

– Не буду, сынок, не буду скучать.

– Нет, ты немножко скучай, – сказал Артём. – Так лучше тебе будет. А игрушки из угла убирать не надо: я приду и сразу буду играть, я бегом домой прибегу.

– А я тебя ждать буду, – сказала мать, – я тебе оладьев испеку.

– Ты будешь ждать меня? – обрадовался Артём. – Тебе ждать – не дождаться! Эх, горе тебе! А ты не плачь по мне, ты не бойся и не умри, смотри, а меня дожидайся!

– Да уж ладно! – засмеялась мать Артёма. – Уж дождусь тебя, милый мой, авось не помру!

– Ты дыши и терпи, тогда не помрёшь, – сказал Артём. – Гляди, как я дышу, так и ты.

Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там, в конце улицы, стояла новая большая рубленая школа – её целое лето строили, – а за школой начинался тёмный лиственный лес. До школы отсюда ещё было далеко, до неё протянулся долгий порядок домов – дворов десять или одиннадцать.

– А теперь ступай один, – сказала мать. – Привыкай один ходить. Школу-то видишь?

– А то будто! Вон она.

– Ну иди, иди, Артёмушка, иди один. Учительницу там слушайся, она вместо меня будет!

Артём задумался.

– Нет, она за тебя не будет, – тихо произнёс Артём, – она чужая.

– Привыкнешь, Аполлинария Николаевна тебе как родная будет. Ну иди! – Мать поцеловала Артёма в лоб, и он пошёл один.

Отошедши далеко, он оглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артёму хотелось заплакать по матери и вернуться к ней, но он опять пошёл вперёд, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать Артёма, взять его за руку и вернуться с ним домой, но она только вздохнула и

пошла домой одна.

Вскоре Артём снова обернулся, чтобы поглядеть на мать, однако её уже не было видно.

И пошёл он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и защемил клювом штанину у Артёма, а заодно захватил и кожу на его ноге. Артём рванулся и спасся от гусака. «Это страшные дикие птицы, – решил Артём, – они живут вместе с орлами».

На другом дворе были открыты ворота. Артём увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями, животное стояло к Артёму хвостом, но всё равно оно было сердитое и видело его.

«Ктой-то это? – подумал Артём. – Волк, что ли?» Артём оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать, – и не видать ли её там, а то этот волк побежит туда. Матери не было видно, она уже дома, должно быть, это хорошо, волк её не съест. Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскалило на Артёма пасть с зубами.

Артём узнал собаку Жучку.

– Жучка, это ты?

– Р-р-р! – ответила собака-волк.

– Тронь только! – сказал Артём. – Ты только тронь! Ты знаешь, что тебе тогда будет? Я в школу иду. Вон она виднеется!

– Ммм, – смирно произнесла Жучка и шевельнула хвостом.

– Эх, далече ещё до школы! – вздохнул Артём и пошёл дальше.

Кто-то враз и больно ударил Артёма по щеке, словно вонзился в неё и тут же вышел вон обратно.

– Это ктой-то ещё? – напугался было Артём. – Ты чего дерёшься, а то я тебе тоже… Мне в школу надо. Я ученик – ты видишь!

Он поглядел вокруг, а никого не было, один ветер шумел павшими листьями.

– Спрятался? – сказал Артём. – Покажись только!

На земле лежал толстый жук. Артём поднял его, потом положил на лопух.

– Это ты на меня из ветра упал. Живи теперь, живи скорее, а то зима настанет.

Сказавши так, Артём побежал в школу, чтобы не опоздать. Сначала он бежал по тропинке возле плетня, да оттуда какой-то зверь дыхнул на него горячим духом и сказал: «Ффурфурчи».

– Не трожь меня: мне некогда! – ответил Артём и выбежал на середину улицы.

На дворе школы сидели ребята. Их Артём не знал, они

пришли из другой деревни, должно быть, они учились давно и были все умные, потому что Артём не понимал, что они говорили.

– А ты знаешь жирный шрифт? Ого! – сказал мальчик из другой деревни.

А ещё двое говорили:

– Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал!

– А мы их прошли уже. Мы птиц учили до кишок!

– Вы до кишок только, а мы всех птиц до перелёта проходили.

«А я ничего не знаю, – подумал Артём, – я только маму люблю! Убегу я домой!»

Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница Аполлинария Николаевна и сказала, когда отзвенел звонок:

– Здравствуйте, дети! Идите сюда, идите ко мне.

Все ребята пошли в школу, один Артём остался во дворе.

Аполлинария Николаевна подошла к нему:

– А ты чего? Оробел, что ли?

– Я к маме хочу, – сказал Артём и закрыл лицо рукавом. – Отведи меня скорее ко двору.

– Нет уж, нет! – ответила учительница. – В школе я тебе мама.

Она взяла Артёма под мышки, подняла к себе на руки и понесла.

Артём исподволь поглядел на учительницу: ишь ты, какая она была, – она была лицом белая, добрая, глаза её весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая. И пахло от неё так же, как и от матери, тёплым хлебом и сухою травой.

В классе Аполлинария Николаевна хотела посадить Артёма за парту, но он в страхе прижался к ней и не сошёл с рук. Аполлинария Николаевна села за стол и стала учить детей, а Артёма оставила у себя на коленях.

– Эк ты, селезень толстый какой на коленях сидит! – сказал один мальчик.

– Я не толстый! – ответил Артём. – Это меня орёл укусил, я раненый.

Он сошёл с колен учительницы и сел за парту.

– Где? – спросила учительница. – Где твоя рана? Покажи её, покажи!

– А вот тута! – Артём показал ногу, где гусак его защемил.

Учительница оглядела ногу.

– До конца урока доживёшь?

– Доживу, – обещал Артём.

Артём не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно на далёкое белое облако; оно плыло по небу туда, где жила его мама в родной их избушке. А жива ли она? Не

померла ли от чего-нибудь – вот бабушка Дарья весною враз померла, не чаяли, не гадали. А может быть, изба их без него загорелась, ведь Артём давно из дому ушёл, мало ли что бывает.

Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него:

– А ты чего, Федотов Артём, ты чего думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь?

– Я пожара боюсь, наш дом сгорит.

– Не сгорит. В колхозе народ смотрит, он потушит огонь.

– Без меня потушат? – спросил Артём.

– Без тебя управятся.

После уроков Артём первый побежал домой.

– Подожди, подожди, – сказала Аполлинария Николаевна. – Вернись назад, ты ведь раненый.

А ребята сказали:

– Эк, какой, инвалид, а бегает!

Артём остановился, учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собою. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах у Аполлинарии Николаевны пахло цветами, тихо звенела посуда в шкафу и всюду было убрано чисто, хорошо. Аполлинария Николаевна посадила Артёма на стул, обмыла его ногу тёплой водой из таза и перевязала красное пятнышко – щипок гусака – белой марлей.

– А мама твоя будет горевать! – сказала Аполлинария Николаевна. – Вот горевать будет!

– Не будет! – ответил Артём. – Она оладьи печёт.

– Нет, будет. Эх, скажет, зачем Артём нынче в школу ходил? Ничего он там не узнал, а пошёл учиться, – значит, он маму обманул, значит, он меня не любит, скажет она и сама заплачет.

– И правда! – испугался Артём.

– Правда. Давай сейчас учиться.

– Чуть-чуть только, – сказал Артём.

– Ладно уж, чуть-чуть, – согласилась учительница. – Ну, иди сюда, раненый.

Она взяла его к себе на руки и понесла в класс. Артём боялся упасть и прильнул к учительнице. Снова он почувствовал тот же тихий и добрый запах, который он чувствовал возле матери, а незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были несердитые, точно давно знакомые. «Не страшно», – подумал Артём.

В классе Аполлинария Николаевна написала на доске одно слово и сказала:

– Так пишется слово «мама», – и велела написать эти буквы в тетрадь.

– А это про мою маму? – спросил Артём.

– Про твою.

Тогда Артём старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что и на доске. Он старался, а рука его не слушалась; он ей подговаривал, как надо писать, а рука гуляла сама по себе и писала каракули, непохожие на маму. Осерчавши, Артём писал снова и снова четыре буквы, изображающие «маму», а учительница не сводила с него своих радующихся глаз.

– Ты молодец! – сказала Аполлинария Николаевна.

Она увидела, что теперь Артём сумел написать буквы хорошо и ровно.

– Ещё учи! – поправил Артём.

– Какая это буква: вот такая – ручки в бочки?

– Это Ф, – сказала Аполлинария Николаевна.

– А жирный шрифт что?

– А это такие вот толстые буквы.

– Кормленые? – спросил Артём. – Больше не будешь учить – нечему?

– Как так нечему? Ишь ты какой! – сказала учительница. Пиши ещё!

Она написала на доске: «Родина». Артём стал было переписывать слово в тетрадь, да вдруг замер и прислушался.

На улице кто-то сказал страшным заунывным голосом: «у-у!» А потом ещё раздалось откуда-то, как из-под земли: «н-н-н!»

И Артём увидел в окне чёрную голову быка. Бык глянул на Артёма одним кровавым глазом и пошёл к школе.

– Мама! – закричал Артём.

Учительница схватила мальчика и прижала его к своей груди.

– Не бойся! – сказала она. – Не бойся, маленький мой. Я тебя не дам ему, он тебя не тронет.

– У-у-у! – прогудел бык.

Артём обхватил шею Аполлинарии Николаевны, а она положила ему свою руку на голову.

– Я прогоню быка.

Артём не поверил.

– Да. А ты не мама!

– Мама!.. Сейчас я тебе мама!

– Ты ещё мама? Там мама, а ты ещё, ты тут.

– Я ещё. Я тебе ещё мама!

В классную комнату вошёл старик с кнутом, запылённый землёй; он поклонился и сказал:

– Здравствуйте, хозяева! А что, нету ли кваску испить либо воды? Дорога сухая была…

– А вы кто, вы чьи? – спросила Аполлинария Николаевна.

– Мы дальние, – ответил старик. – Мы скрозь идём вперёд, мы племенных быков по плану гоним. Слышите, как они нутром

гудят? Звери лютые!

– Они вот детей могут изувечить, ваши быки! – сказала Аполлинария Николаевна.

– Ещё чего! – обиделся старик. – А я-то где? Детей я уберегу.

Старик пастух напился из бака кипячёной воды – он полбака выпил, вынул из своей сумки красное яблочко, дал его Артёму.

– Ешь, – сказал, – точи зубы. – И ушёл.

– А ещё у меня есть ещё мамы? – спросил Артём. – Далеко-далеко где-нибудь?

– Есть, – ответила учительница. – Их много у тебя.

– А зачем много?

– А затем, чтоб тебя бык не забодал. Вся наша Родина – ещё мама тебе.

Вскоре Артём пошёл домой, а на другое утро он спозаранку собрался в школу.

– Куда ты? Рано ещё, – сказала мать.

– Да, а там учительница Аполлинария Николаевна! – ответил Артём.

– Ну что ж, что учительница? Она добрая.

– Она, должно быть, соскучилась, – сказал Артём. – Мне пора.

Мать наклонилась к сыну и поцеловала его на дорогу.

– Ну, иди, иди помаленьку! Учись там и расти большой.

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954)

Михаил Пришвин родился в купеческой семье (отец умер, когда мальчику было семь лет). Окончив сельскую школу, будущий писатель поступил в Елецкую классическую гимназию, однако не окончил её, так как был исключён в 1888 году за дерзость учителю. После этого Пришвин переезжает к дяде в Тюмень и здесь оканчивает шесть классов Тюменского реального училища. В 1983 году Пришвин поступает на химико-агрономическое отделение Рижского политехникума.

В 1896 году Пришвин принимал участие в работе марксистских кружков, за что в 1897 году был арестован и выслан на родину в город Елец. Позже, в 1900 году, писатель уезжает в Германию, где оканчивает агрономическое отделение философского факультета Лейпцигского университета. Вернувшись в Россию, Пришвин до 1905 года работает агрономом сначала в Тульской, а затем в Московской губерниях, составляет сельскохозяйственные книги. После, вплоть до Октябрьской революции, он работает корреспондентом в нескольких газетах.

Во время Первой мировой войны Пришвин идёт на фронт в качестве санитара и военного корреспондента. После

Октябрьской революции совмещает краеведческую работу с работой агронома и учителя. Он преподаёт в бывшей Елецкой гимназии, из которой был исключён в детстве, и в школе второй ступени в селе Алексино Дорогобужского района, кроме того, служит инструктором народного образования. Организовывает музей усадебного быта в бывшем имении Барышникова, принимает участие в организации музея в городе Дорогобуже.

Первый рассказ Пришвина был напечатан в 1906 году. В следующем году появилась и первая книга писателя, принёсшая ему известность, – «В краю непуганых птиц». Это путевые очерки, составленные из наблюдений за природой, бытом и речью северных народов Карелии. В 1920—1930-е годы Пришвин выпускает книги «Родники Берендея», «Башмаки» и др., в которых объединяются замечательные описания природы со сказкой, мифом. Необычайная зоркость к мельчайшим деталям и чуткое поэтическое восприятие становятся основой многих детских рассказов Пришвина – «Лисичкин хлеб», «Кладовая солнца» и др. Необыкновенны рассказы о животных, в том числе и охотничьи, – они естественны, в них нет надуманной лжи, благодаря мастерству писателя бессловесный мир обретает язык и становится нам ближе и понятнее.

Дятел

Видел дятла: короткий – хвостик у него ведь маленький, летел, насадив себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на берёзу, где у него была мастерская для шелушения шишек. Пробежал вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчит отработанная и несброшенная шишка и новую шишку некуда девать. И – горе какое! – нечем сбросить старую: клюв-то занят.

Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, освободил клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал.

Такой он умный, всегда бодрый, оживлённый и деловой.

Моя Родина

Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца… Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось

румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным.

Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону; я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца.

Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать.

И часто-часто я думаю: что, если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья!

После чаю я уходил на охоту…

Моя охота была и тогда и теперь – в находках.

Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не видел, и, может быть, и никто ещё в своей жизни с этим не встречался…

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять – их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоёмы. В лесах, степях, горах разные ценные животные – будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину.

Жулька и кот

Жулька не может отвыкнуть, чтобы при всём своём уважении к Ваське за ним не погоняться по комнатам. Он залезает на шкаф, а она замирает и часами глядит на него в положении стойки. Наконец она устаёт, глаза мутнеют и устремляются куда-нибудь на муху.

Вот тогда только Васька начинает оживать. Он много терпеливее и настойчивее собаки. Как только Жулька уставится на муху, кот спускается пониже и, вытянув лапку, грациознейшим в мире и самым кокетливым образом даёт своими бархатными пальчиками с острейшими коготками Жульке по морде.

После того он даже и не пытается бежать, а, обратив на себя внимание Жульки, делает перед носом у неё знаменитую фигуру: спина кренделем, глаза становятся мутно-злыми, уши заглажены, усы трясутся, изо рта шип.

Если же Жулька, не пугаясь страшным видом кота, всё-таки сунется, то он даёт ей лапой по-настоящему, сам же вдруг прыгнет через неё в коридор и пустится, а она за ним и настигает

его наверху уже книжного шкафа, и тут начинается повторение той же игры.

Выскочка

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и назвали мы её Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Бьюшку, Бьюшку все стали звать Вьюшкой.

Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем. Уйдёшь на охоту, и будь уверен: Вьюшка не пустит врага.

Весёлая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки, как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у неё означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты, – известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой.

Тогда, откуда ни возьмись, сороки: скок, скок! – и к самому носу собаки. Когда же Вьюшка повернула голову к одной – другая сорока с другой стороны хвать! – и унесла косточку.

Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводком, в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и, недолго думая, собрались отнять у собаки вторую.

Говорят, что в семье не без урода. То же оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас то же было: все шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна Выскочка поскакала ду́ром.

– Тра-та-та-та-та! – застрекотали все сороки.

Это у них значило:

– Скачи назад, скачи как надо, как всему сорочьему обществу надо!

– Тра-ля-ля-ля-ля! – ответила Выскочка.

Это у неё значило:

– Скачите как надо, а я – как мне самой хочется.

Так за свой страх и риск Выскочка подскакала к самой Вьюшке в том расчёте, что Вьюшка, глупая, бросится на неё, выбросит кость, она же изловчится и кость унесёт.

Вьюшка, однако, замысел Выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на неё, но, заметив Выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя – скок! и подумают – наступали шесть умных сорок.

Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы.

И только бы ещё одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко! Вот только-только бы подняться сороке, как Вьюшка схватила её за хвост, и кость выпала…

Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из пасти её длинным острым кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая пёстрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост. Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут ему в зад длинную соломинку и пустят эту крупную сильную муху лететь с таким длинным хвостом, – гадость ужасная! Ну, так вот, это муха с хвостом, а тут – сорока без хвоста; кто удивился мухе с хвостом, ещё больше удивится сороке без хвоста. Ничего сорочьего не остаётся тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пёстрый с головкой.

Бесхвостая Выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанию, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего сраму, как лишиться сороке хвоста.

Лидия Алексеевна Чарская (1875–1937)

Лидия Алексеевна родилась в дворянской семье. Её отец был военным инженером. Семья жила в достатке, родители любили свою дочь, и всё вокруг было радостным и безмятежным. Девочка росла очень впечатлительным и мечтательным ребёнком. Но вскоре умерла мама. Отец женился во второй раз. Отношения с мачехой не сложились, Лида несколько раз убегала из дома. Тогда было решено отвезти дочь в Петербург в Павловский женский институт. Институт показался девочке тюрьмой, в которой ей предстояло теперь жить.

С годами Лидия научилась владеть собой, стала более спокойной и выдержанной. После окончания пансиона в семью не

вернулась. Она поступила на Драматические курсы при Императорском театральном училище, после окончания которого определилась в Александринский Императорский театр. Именно там, на сцене, родился псевдоним «Чарская». Но роли ей доставались второстепенные, эпизодические, жалованье тоже было невелико.

Одновременно с выступлениями в театре Чарская пробует себя в литературе. Первая же повесть принесла ей громкую славу. За 20 лет литературной деятельности Чарская написала около 80 произведений, которые пользовались неизменным успехом! Они переводились на немецкий, английский, французский, чешский языки. Чарская была известна в каждой семье, где росли дети.

После Октябрьской революции писательницу перестали печатать, не простив её дворянского происхождения. Её произведения были изъяты из библиотек и уничтожены.

Во время Гражданской войны, сражаясь в Красной Армии, погибает её сын Юрий. Писательница осталась совсем одна. Она умерла тихо и незаметно.

Живая перчатка

Жил на свете рыцарь, свирепый и жестокий. До того свирепый, что все боялись его, – все, и свои и чужие. Когда он появлялся на коне среди улицы или на городской площади, народ разбегался в разные стороны, улицы и площади пустели. И было чего бояться рыцаря народу! Стоило кому-либо в недобрый час попасться ему на дороге, перейти ему нечаянно путь, и в одно мгновение ока свирепый рыцарь затаптывал насмерть несчастного копытами своего коня или пронзал его насквозь тяжёлым острым мечом.

Высокий, худой, с очами, выбрасывающими пламя, с угрюмо сдвинутыми бровями и лицом, искривлённым от гнева, – он наводил ужас на всех. В минуты гнева он не знал пощады, становился страшным и выдумывал самые лютые кары для тех, кто являлся причиной его гнева, и для тех, кто случайно попадался ему в это время на глаза. Но жаловаться королю на свирепого рыцаря было бесполезно: король дорожил своим свирепым рыцарем за то, что тот был искусным полководцем, не раз во главе королевских войск одерживал победы над врагами и покорил много земель. Потому-то король высоко ценил свирепого рыцаря и спускал ему то, чего бы не спустил никому другому. А другие рыцари и воины, хотя и не любили свирепого рыцаря, но ценили в нём храбрость, ум и преданность королю и стране…

Бой близился к концу.

Свирепый рыцарь, закованный в золотую броню, скакал верхом между рядами войск, воодушевляя своих усталых и измученных воинов.

В этот раз бой был тяжёлый и трудный. Третьи сутки дрались воины под начальством свирепого рыцаря, но победа не давалась им. У врагов, напавших на королевские земли, было больше войска. Ещё минута-две, и враг несомненно одолел бы и ворвался прямо в королевский замок.

Напрасно свирепый рыцарь появлялся то тут, то там на поле брани и то угрозами, то мольбами старался заставить своих воинов собрать последние силы, чтобы прогнать врагов.

Вдруг конь рыцаря шарахнулся в сторону, заметив на земле железную перчатку, такую, какую носили в то время почти все рыцари. Свирепый рыцарь дал шпоры коню, желая заставить его перепрыгнуть через перчатку, но лошадь – ни с места. Тогда рыцарь велел юноше-оруженосцу поднять перчатку и подать её себе. Но едва только рыцарь дотронулся до неё, – перчатка, точно живая, выскочила из его руки и опять упала на землю.

Рыцарь велел опять её подать себе – и опять повторилось то же самое. Мало того: упав на землю, железная перчатка зашевелилась, как живая рука; пальцы её судорожно задвигались и снова разжались. Рыцарь приказал снова поднять её с земли и, в этот раз крепко зажав её в руке, помчался в передние ряды своих войск, потрясая в воздухе перчаткой. И каждый раз, когда он поднимал высоко перчатку, пальцы перчатки то сжимались, то снова разжимались, и в ту же минуту, точно по сигналу, войска кидались на врага с новой силой. И где ни появлялся рыцарь со своей перчаткой, – усталые и измученные его воины оживали и с удвоенной силой бросались на врага. Прошло всего несколько минут, и враги бежали, а вестники свирепого рыцаря стали трубить победу…

Гордый и торжествующий, объезжал теперь рыцарь ряды своих усталых, измученных бойцов, спрашивая, кому принадлежит странная перчатка, – но никто не видал до тех пор такой перчатки, никто не знал, откуда она взялась…

Во что бы то ни стало свирепый рыцарь решил узнать, кому принадлежит странная перчатка, и стал объезжать все города, все сёла и деревни и, потрясая в воздухе находкой, спрашивал, чья это перчатка. Нигде не отыскивался хозяин живой перчатки.

В одном городе попался свирепому рыцарю навстречу маленький мальчик и сказал:

– Я слышал от деда, что в лесу живёт старая Мааб… Она знает все тайны мира и, наверное, сумеет открыть тебе значение живой перчатки, рыцарь.

– Едем к ней! – был суровый приказ, и, пришпорив коня, свирепый рыцарь помчался к лесу… Покорная свита помчалась за ним.

Старуха Мааб жила в самой чаще тёмного леса. Она едва двигалась от дряхлости. Когда она увидела перчатку, то глаза у неё загорелись, словно яркие факелы в ночной темноте, и она вся побагровела от восторга.

– Огромное счастье досталось тебе в руки, благородный рыцарь, – глухим голосом произнесла она. – Далеко не всем людям попадается подобное сокровище! Эта живая перчатка – перчатка победы… Судьба нарочно бросила её на твоём пути… Стоит тебе только надеть её на руку, и победа останется всегда за тобой!

Свирепый рыцарь просиял от счастья, надел на руку перчатку, щедро наградил золотом Мааб и умчался из дремучего леса в королевскую столицу.

Прошла неделя.

Не слышно ничего про обычные жестокие проделки рыцаря, не слышно, чтобы он в припадке гнева кого-либо подверг казни, не слышно, чтобы он обидел кого-либо.

Ещё так недавно лилась кровь вокруг свирепого рыцаря рекой, слышались стоны, раздавался плач.

А теперь?

Правда, неделю тому назад попробовал было рыцарь ударить мечом кого-то из прохожих. Но неожиданно рука его, судорожно сжатая живыми пальцами перчатки, опустилась, и тяжёлый меч со звоном упал на землю.

Хотел рыцарь сбросить с руки докучную перчатку, да вспомнил вовремя, что даёт она ему победу, и удержался.

Другой раз хотел рыцарь направить своего коня на окружавшую его толпу людей, и снова до боли сжали его руку живые пальцы перчатки, и он не мог двинуть ими для управления конём.

С этой самой минуты понял рыцарь, что идти наперекор живой перчатке бесполезно, что она, эта перчатка, удерживает его от самых жестоких поступков.

И перестал он извлекать меч из ножен для гибели неповинных людей.

И люди не боялись теперь выходить из домов на улицы в то время, когда проезжал по ним свирепый рыцарь…

Они без страха появлялись на его пути и славили рыцаря за его победы над врагами.

Снова разгорелась война…

Уже давно дальний сосед короля, властелин богатой страны,

прельщал взоры рыцаря.

И он говорил своему королю:

– Гляди! Твой дальний сосед богаче тебя, и хотя ты поклялся ему в вечной дружбе и мире, но если ты победишь его и присвоишь себе его владения, то станешь самым могучим и богатым в мире королём.

Король послушался слов своего любимца.

«Прав рыцарь, – думал король, – завоюю страну моего соседа и разбогатею от его богатства!»

И приказал трубить новый поход.

Сошлись два войска на поле брани…

Дружины рыцаря встретились с дружинами короля. Рыцарь был вполне спокоен и заранее уверен в исходе боя.

Он знал: перчатка победы была на его руке…

Солнце всходило и заходило снова… Месяц сиял и мерк и снова сиял. Птицы пели, стихали и снова пели… А люди всё бились и бились без конца.

Долгая то была битва…

Долгая и упорная как никогда.

Свирепый рыцарь стоял в стороне, распоряжаясь боем, заранее уверенный в победе своих дружин.

Вдруг невиданное зрелище поразило его взоры: враги побеждали, а его воины ударились в бегство…

Взбешённый, он сам кинулся в бой… И… принуждён был отступить… Враги окружили его со всех сторон…

Не помня себя, он дал шпоры коню и погнал его с поля битвы.

Прискакал в столицу, весь обрызганный кровью, рыцарь и упал к ногам короля.

– Не вини меня, король! – вскричал он. – Не я, а старуха Мааб виновница гибели твоего войска… Она обманула меня, заставив надеть на руку перчатку гибели и поражения. Вели казнить её, король, казнить жестокой, страшной смертью, какую только можно придумать!

С первыми лучами солнца весь город высыпал на площадь… В этот ранний утренний час решена была казнь старухи Мааб, привезённой ещё накануне из леса. Решено было сжечь Мааб на костре, чтобы впредь не морочила людей, не выдавала перчатку гибели за перчатку победы.

Привезли на площадь Мааб, сняли с колесницы, ввели на возвышение, где лежали сложенные для костра дрова…

Поставили на них Мааб и привязали верёвками к столбу.

Перед самым столбом стоял свирепый рыцарь и кричал со злым смехом в самое лицо Мааб:

– Ты обманула меня, Мааб! За это умрёшь лютой смертью! И

знак к казни я дам той самой перчаткой, которая мне, по твоим словам, должна была доставить победу…

С этими словами он поднял руку, чтобы дать знак палачам зажигать костёр, и вскрикнул в испуге. Рука не двигалась… Точно налитая свинцом, она безжизненно повисла вдоль тела. Тогда он открыл рот, желая отдать приказание начинать казнь, но в этот же миг живая перчатка поднялась вместе с рукой и, тесно прижавшись к его рту, чуть не задушила его.

Обезумев от ужаса, рыцарь вскричал:

– Спаси меня, Мааб! Спаси!

Мааб медленно сошла с костра, без всякого усилия перервав верёвки, и, приблизившись к рыцарю, произнесла:

– Я не солгала тебе… Живая перчатка воистину перчатка победы. В каждом правом деле она даст тебе победу всюду и везде. И в последней неудачной битве дала бы она тебе победу, если бы ты не шёл на соседнего короля с корыстолюбивыми целями овладеть его богатством, а защищал своего короля, свою родину, свою честь. И тогда бы ты не потерпел поражения, сознавая себя правым и в честном деле. Знай же, что живая перчатка будет служить тебе только во всех добрых и честных делах! Ведь удерживала она тебя в те минуты, когда ты хотел пролить кровь невинных людей! Дала тебе победу над самим собой! Дала победу и тогда, когда на твою страну напали злые враги!.. Так будет с нею и впредь!..

И, сказав это, исчезла как тень, растаяв в воздухе, Мааб…

Предсказание Мааб сбылось.

Живая перчатка помогала рыцарю во всех его правых делах, давая ему победу, и удерживала его всякий раз, когда он начинал какую-нибудь скверную, несправедливую затею…

И весь народ прославил его имя, и вместо свирепого рыцаря люди прозвали его рыцарем правым и благородным.

Евгений Львович Шварц (1896–1958)

Родился в октябре 1896 года в Казани в семье врача. Детство Шварца прошло в г. Майкопе. Шварц не окончил юридический факультет Московского университета, поскольку начал играть в театрах-студиях – сначала в Ростове-на-Дону, а с 1921 года в Петрограде, в «Театральной мастерской». Театральные критики предрекали Шварцу блестящее актёрское будущее. Несмотря на это, он оставил сцену и пришёл литературным секретарём к К.И. Чуковскому.

В 1924 году Шварц работал в детской редакции Госиздата под руководством С. Маршака. Одной из главных его обязанностей

была помощь начинающим писателям – у Шварца был необыкновенный талант понимать и развивать молодые таланты. В это время Шварц пишет первые пьесы для Ленинградского ТЮЗа.

Шварц написал около 25 пьес, не все они изданы. По его сценариям поставлены прекрасные фильмы – и смешные, и трогательные.

Сказка о потерянном времени

Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и всё время отставал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению.

– Успею! – говорил он в конце первой четверти. – Во второй вас всех догоню.

А приходила вторая – он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. Всё «успею» да «успею».

И вот однажды пришёл Петя Зубов в школу, как всегда с опозданием. Вбежал в раздевалку. Шлёпнул портфелем по загородке и крикнул:

– Тётя Наташа! Возьмите моё пальтишко!

А тётя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок:

– Кто меня зовёт?

– Это я. Петя Зубов, – отвечает мальчик.

– А почему у тебя сегодня голос такой хриплый? – спрашивает тётя Наташа.

– А я и сам удивляюсь, – отвечает Петя. – Вдруг охрип ни с того ни с сего.

Вышла тётя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет:

– Ой!

Петя Зубов тоже испугался и спрашивает:

– Тётя Наташа, что с вами?

– Как что? – отвечает тётя Наташа. – Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы, должно быть, его дедушка.

– Какой же я дедушка? – спрашивает мальчик. – Я – Петя, ученик третьего класса.

– Да вы посмотрите в зеркало! – говорит тётя Наташа.

Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросла у него седая окладистая борода, усы. Морщины покрыли сеткою лицо.

Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая

борода.

Крикнул он басом:

– Мама! – и выбежал прочь из школы.

Бежит он и думает: «Ну уж если и мама меня не узнает, тогда всё пропало».

Прибежал Петя домой и позвонил три раза.

Мама открыла ему дверь.

Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.

– Вам кого, дедушка? – спросила мама наконец.

– Ты меня не узнаёшь? – прошептал Петя.

– Простите – нет, – ответила мама.

Отвернулся бедный Петя и пошёл куда глаза глядят.

Идёт он и думает:

– Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей… И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики – те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут – ведь я всего только три года работал. Да и как работал – на двойки да на тройки.

Что же со мною будет? Бедный я старик! Несчастный я мальчик! Чем же всё это кончится?

Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шёл он по лесу, пока не стемнело.

«Хорошо бы отдохнуть», – подумал Петя и вдруг увидел, что в стороне, за ёлками, белеет какой-то домик. Вошёл Петя в домик – хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола – четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу горою навалено сено.

Лёг Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утёр слёзы бородой и уснул.

Просыпается Петя – в комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом. А вокруг стола сидят ребята – два мальчика и две девочки. Большие окованные медью счёты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут.

– Два года, да ещё пять, да ещё семь, да ещё три… Это вам, Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, Марфа Васильевна, а это ваши, Пантелей Захарович.

Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они, и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке?

Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он.

Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом! Вот ведь как, оказывается, устроено на свете: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные дети, и сами того не заметили – ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята – старыми стариками.

Как быть?

Что делать?

Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости?

Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счёты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, – не позволил. Взял он счёты и подошёл к ходикам. Покрутил стрелки, подёргал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защёлкал на счётах. Считал, считал он, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и ещё раз проверил, сколько получилось у него.

Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко:

– Господа волшебники! Знайте – ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, ещё могут помолодеть.

– Как? – воскликнули волшебники.

– Сейчас скажу, – ответил Сергей Владимирович.

Он вышел на цыпочках из домика, обошёл его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой.

Петя Зубов замер, как мышка.

Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети.

Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко:

– К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.

Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала:

– Откуда им всё это узнать?

А Пантелей Захарович проворчал:

– Не придут они сюда к двенадцати часам ночи. Хоть на минуту, да опоздают.

А Марфа Васильевна пробормотала:

– Да куда им! Да где им! Эти лентяи до семидесяти семи и сосчитать не сумеют, сразу собьются.

– Так-то оно так, – ответил Сергей Владимирович. – А всё-таки пока что держите ухо востро. Если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки – нам тогда и с места не сдвинуться. Ну, а пока нечего время терять, – идём на работу.

И волшебники, спрятав счёты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики.

Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика. И, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников.

Город ещё не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах, только милиционеры стояли на постах. Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел наконец Петя Зубов – идёт не спеша по улице старушка с большой корзинкой.

Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, бабушка, – вы не школьница?

– Что, что? – спросила старушка сурово.

– Вы не третьеклассница? – прошептал Петя робко.

А старушка как застучит на Петю ногами да как замахнётся на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унёс. Отдышался он немного – дальше пошёл. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди. Грохочут грузовики – скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел всё это Петя Зубов и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать.

Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит.

Бегут по улицам старики, но сразу видно – настоящие, не третьеклассники.

Вот старик с портфелем. Наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью – это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик – начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну.

Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей, – нет как нет.

Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен.

Ровно в полдень зашёл Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть.

И вдруг вскочил.

Увидел он – сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет.

Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.

– Подожду! – сказал он сам себе. – Посмотрю, что она дальше делать будет.

А старушка перестала вдруг плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из одного кармана газету, а из другого кусок ситного[28] с изюмом.

Развернула старушка газету, – Петя ахнул от радости: «Пионерская правда»! – и принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает.

Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный и вдруг что-то увидала в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу.

Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтёрла его старательно платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трёшки.

Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит:

– Бабушка! Честное слово, вы школьница!

Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает:

– Верно, верно! Я ученица третьего класса Маруся Поспелова. А вы кто такой?

Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят: за дровяным сараем прыгает старушка.

Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек.

Бросились Петя и Маруся к ней.

– Бабушка! Вы школьница?

– Школьница, – отвечает старушка. – Ученица третьего класса, Наденька Соколова. А вы кто такие?

Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища.

Но он как сквозь землю провалился. Куда только ни заходили старики – и во дворы, и в сады, и в детские кино, и в Дом Занимательной Науки – пропал мальчик, да и только.

А время идёт. Уже стало темнеть. Уже в нижних этажах домов зажёгся свет. Кончается день. Что делать? Неужели всё пропало?

Вдруг Маруся закричала:

– Смотрите! Смотрите!

Посмотрели Петя и Наденька и вот что увидели: летит трамвай, девятый номер. А на «колбасе» висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо, борода развевается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и в ус не дует!

Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье, зажёгся на перекрёстке красный огонь, остановился трамвай.

Схватили ребята «колбасника» за полы, оторвали от «колбасы».

– Ты школьник? – спрашивают.

– А как же? – отвечает он. – Ученик второго класса, Зайцев Вася. А вам чего?

Рассказали ему ребята, кто они такие.

Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу.

Какие-то школьники ехали в том же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место.

– Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки.

Смутились старики, покраснели и отказались.

А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают:

– Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте.

Тут, к счастью, подошёл трамвай к лесу, соскочили наши старики – и в чащу бегом.

Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу.

Наступила ночь, тёмная, тёмная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят.

– Ах, время, время! – говорит Петя. – Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику – боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь.

Совсем выбились из сил старички. Но, на их счастье, подул ветер, очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна.

Влез Петя Зубов на берёзу и увидел – вон он, домик, в двух шагах белеют его стены, светятся окна среди густых ёлок.

Спустился Петя вниз и шепнул товарищам:

– Тише! Ни слова! За мной!

Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно.

Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время.

– Они спят! – сказала Маруся.

– Тише! – прошептал Петя.

Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и – раз, два, три – закрутил их обратно, справа налево.

С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей, вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щёки.

– Поднимите меня, – закричал Петя. – Я делаюсь маленьким, я не достаю до стрелок! Тридцать один, тридцать два, тридцать три!

Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. Всё ближе пригибало их к земле, всё ниже становились они. И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их не было на свете.

Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. С бою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время.

Они-то спаслись, но ты помни: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.

Поэзия

Константин Дмитриевич Балмонт (1867–1942)

Константин Дмитриевич Бальмонт родился в июне 1867 года в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии. Отец выслужился до председателя уездной земской управы. Мать была образованной женщиной, она и ввела сына в мир музыки, словесности, истории.

В 1876–1883 годах Бальмонт учился в Шуйской гимназии, откуда был исключён. В 1876 году Бальмонт поступил в подготовительный класс Шуйской гимназии. Сначала мальчик делал успехи, но вскоре ученье ему наскучило, и успеваемость снизилась, зато проснулась любовь к чтению, французские и немецкие произведения он читал в подлиннике. Под впечатлением от прочитанного он в возрасте десяти лет сам начал писать стихи. Продолжил своё образование во Владимирской гимназии, затем в Москве в университете и Демидовском лицее в Ярославле. В 1887 году за участие в студенческих волнениях был исключён из Московского университета и сослан в Шую. Высшего образования так и не получил, но благодаря своему трудолюбию и любознательности стал одним из самых эрудированных и культурных людей своего времени. Бальмонт ежегодно прочитывал огромное количество книг, изучил, по разным сведениям, от 14 до 16 языков, кроме литературы и искусства увлекался историей, этнографией, химией.

Стихи начал писать в детстве. Первая книга стихов «Сборник стихотворений» издана в Ярославле на средства автора в 1890 году. Молодой поэт после выхода книжки сжёг почти весь небольшой тираж. Широкая известность к Бальмонту пришла достаточно поздно, а в конце 1890-х он был скорее известен как талантливый переводчик с норвежского, испанского, английского и других языков.

Золотое слово

Осень обещала: «Я озолочу».
А Зима сказала: «Как я захочу».
А Весна сказала: «Ну-ка, ну, Зима».
И Весна настала. Всюду кутерьма.

Солнце золотится. Лютик – золотой.
Речка серебрится и шалит водой.
Родилась на воле, залила луга,
Затопила поле, стёрла берега.

Там, где не достала, – лютик золотой,
Жёлтый одуванчик, – будет и седой.
Осень обещала. Помогла Весна.
Ну, Зима пропала, хоть была сильна.

Фея и снежинки

Катаясь на коньках,
На льду скользила Фея.
Снежинки, тихо рея,
Рождались в облаках.
Родились – и скорей,
Сюда, скорей, скорее.
Из мира снежных Фей
К земной скользящей Фее.

Гномы

На лугу большие кучи
Свежевырытой земли.
Лето. Жарко. Полдень жгучий.
Дым стоит вдали.

Кто здесь рылся? Может, гномы?
Всей смешной толпой своей
Строят нижние хоромы
Для своих царей?

Города во тьме возводят,
Строят замки под землёй,
И, уродливые, ходят
Под моей ногой?

Зажигают вырезные
Лампы в царстве темноты?
Нет, ошибся. То – слепые

Чёрные кроты.

Колыбельная песня

Детка, хочешь видеть Рай?
Всё забудь и засыпай.
Лишь храни мечту свою,
Баю-баюшки-баю.

Ты – устала, отдохни,
В Небе светятся огни.
И лампадка говорит:
Спи, малютка. Небо спит.

Баю-баю-баю-бай,
Потихоньку засыпай.
Что увидишь ты во сне,
Расскажи поутру мне.

Ты увидишь светлый Рай,
В нём цветы себе сбирай.
Будем вместе мы в Раю,
Баю-баюшки-баю.

Снежинка

Светло-пушистая
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая!

Дорогой бурною
Легко проносится,
Не в высь лазурную,
На землю просится.

Лазурь чудесную
Она покинула,
Себя в безвестную
Страну низринула.

В лучах блистающих
Скользит, умелая,
Средь хлопьев тающих
Сохранно-белая.

Под ветром воющим
Дрожит, взметается,
На нём, лелеющем,
Светло качается.

Его качелями
Она утешена,
С его метелями
Крутится бешено.

Но вот кончается
Дорога дальняя,
Земли касается
Звезда кристальная.

Лежит пушистая
Снежинка смелая,
Какая чистая,
Какая белая!

Александр Александрович Блок (1880–1921)

Александр Блок родился в Петербурге, детство провёл в семье деда – известного ботаника, ректора Петербургского университета А.Н. Бекетова. Мальчик был воспитан на стихах А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, Я.П. Полонского, А.А. Фета. Сочинять сам он начал очень рано, «чуть ли не с пяти лет», издавал детские рукописные журналы, в юношеские годы участвовал в любительских спектаклях.

В 1898 году закончилось обучение в гимназии, и Блок поступил на юридический факультет Петербургского университета. Однако через три года, убедившись, что юридическая наука ему совершенно чужда, он перевёлся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета, которое окончил в 1906 году.

Театральные интересы ушли в прошлое. К этому времени Блок написал уже много стихов. Блок познакомился с З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковским – они помогают опубликовать

Блоку свои произведения.

В январе 1904 года он совершил поездку в Москву, где познакомился с Андреем Белым. Эта же поездка явилась и началом тесной дружбы с Брюсовым и Бальмонтом.

В 1909 году поэт совершил интересное путешествие по Италии и Германии, результатом которого явился цикл «Итальянские стихи» – лучшее, что есть в русской поэзии об Италии.

После революции Блок сотрудничает с издательством «Всемирная литература», входит в дирекцию Большого драматического театра. В это время поэт почти не создаёт новых стихов.

Оказавшись в тяжёлом материальном положении, Блок тяжело болеет. В августе 1921 года он умер в Петрограде.

Вербочки

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Огонёчки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.

Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для Святого дня.

«Гроза прошла, и ветка белых роз…»

Гроза прошла, и ветка белых роз
В окно мне дышит ароматом…
Ещё трава полна прозрачных слёз,
И гром вдали гремит раскатом.

Учитель

Кончил учитель урок,
Мирно сидит на крылечке.
Звонко кричит пастушок.
Скачут барашки, овечки.

Солнце за горку ушло,
Светит косыми лучами.
В воздухе сыро, тепло,
Белый туман за прудами.

Старый учитель сидит, —
Верно, устал от работы:
Завтра ему предстоит
Много трудов и заботы.

Завтра он будет с утра
Школить упрямых ребяток,
Чтобы не грызли пера
И не марали тетрадок.

Стадо идёт и пылит,
Дети за ним – врассыпную.
Старый учитель сидит,
Голову клонит седую.

Сергей Александрович Есенин (1895–1925)

Родился в селе Константиново Рязанской губернии в зажиточной крестьянской семье. Его отец перебрался в Москву и стал приказчиком купца. Мать также уходила в город на заработки. Воспитывал мальчика дед Фёдор Андреевич Титов. В 1904 году Есенина отдали в Константиновское земское училище, которое он окончил с похвальным листом, а затем отправили в закрытую церковно-учительскую школу. Именно в школе появились первые поэтические опыты Есенина. После окончания школы в 1912 году Есенин приехал в Москву. Работал в книжном магазине, затем поступил в типографию – это давало ему возможность читать различную литературу. В Москве Есенин посещал Суриковский литературно-музыкальный кружок. С 1913 года учился на историко-философском отделении Московского городского народного университета им. А. Шанявского. Весной 1915 года Есенин перебирается в Петроград – он считал, что здесь больше возможностей добиться признания. В Петрограде молодой

поэт знакомится с известными и признанными поэтами: А. Блоком, З. Гиппиус и Д. Мережковским, в Царском Селе – с Ахматовой и Гумилёвым. Для Есенина стали открыты литературные салоны, его стихи регулярно печатались. В декабре 1918 года поэт становится членом московского профессионального Союза писателей.

«Я покинул родимый дом…»

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережёт голубую Русь
Старый клён на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клён
Головой на меня похож.

Бабушкины сказки

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идём, бредём домой.
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
И сидим мы, еле дышим.
Время к полночи идёт.
Притворимся, что не слышим,

Если мама спать зовёт.
Сказки все. Пора в постели…
Но а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.
Скажет бабушка несмело:
«Что ж, сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело, —
Говори да говори.

«Отговорила роща золотая…»

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдёт, зайдёт и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветром в даль,
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадёт трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребёт их все в один ненужный ком…
Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком.

Игорь Северянин (1887–1941)

Игорь Северянин (настоящее имя и фамилия Лотарёв Игорь Васильевич) родился в Петербурге в семье офицера, по материнской линии был потомком Карамзина и дальним родственником Фета. Окончил реальное училище в г. Череповце, стихи сочинял с детства.

Юношеские опыты не привлекали внимания читателей и критики, и поэту пришлось издать более тридцати разных книжечек-брошюр за свой счёт, рассылая их на отзыв в редакции журналов и именитым людям.

Лев Толстой пришёл в негодование от сборничка «Интуитивные краски» и раскритиковал Северянина. Однако этим и привлёк к нему внимание издателей и читателей. «С лёгкой руки Толстого меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали охотно печатать мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них участие».

Слава приходит к поэту в 1913 году, после выхода сборника «Громокипящий кубок», а в феврале 1918 года в зале Политехнического музея Северянина избирают «королём поэтов» (к досаде его соперников – В. Маяковского, К. Бальмонта). В этом же году он уезжает в Эстонию. Вернуться на родину он уже не сможет.

Отчего?

Отчего снег бесследно пропал,
И ручьи отчего потекли?
Отчего соловей засвистал,
И цветы отчего зацвели?

Отчего лес оделся в листву,
И влечёт меня зелень в него?
Отчего я дышу и живу
Так привольно?.. зачем! отчего?

Отчего так внезапно весь мир
Пробудился от долгого сна? —
«Отчего? – прошептал мне зефир. —
Оттого, что настала весна».

Её питомцы

Она кормила зимних птичек,
Бросая крошки из окна,
От их весёлых перекличек
Смеялась радостно она.
Когда ж она бежала в школу,
Питомцы, слыша снега хруст,
Ватагой шумной и весёлой
Неслись за ней с куста на куст!

«Кружевеет, розовеет утром лес…»

Кружевеет, розовеет утром лес,
Паучок по паутине вверх полез.
Бриллиантится весёлая роса.
Что за воздух! Что за свет! Что за краса!

Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу,
Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхом: «Ха-ха-ха!»

Саша Чёрный (1880–1932)

Саша Чёрный родился в многодетной еврейской семье в Одессе. Настоящее имя – Александр Гликберг. В семье было двое детей с именем Саша. Блондина называли – Саша Белый, брюнета – Саша Чёрный. Чтобы дать ребёнку возможность поступить в гимназию, родители крестили его. В гимназии Александр проучился недолго, за плохие отметки мальчика жестоко наказывали. Мальчик сбежал из дома, стал нищим-попрошайкой. О его горестной судьбе написали в газете, и житомирский чиновник К.К. Роше, растроганный этой историей, взял мальчика к себе.

В 1905 году переезжает в Петербург, где активно публикует в журналах сатирические стихи и прозу. Корней Чуковский писал, что «…получив свежий номер журнала, читатель, прежде всего, искал в нём стихи Саши Чёрного».

Два года жил в Германии, учился в Гейдельбергском университете. Вернулся в Петербург в 1908 году. Становится известным как детский писатель: книги «Тук-Тук», «Живая азбука» и другие. В годы Первой мировой войны Саша Чёрный служил в

армии рядовым. В 1929 году строит свой дом на юге Франции, куда приезжали и подолгу гостили русские писатели, художники, музыканты.

На коньках

Мчусь, как ветер, на коньках
Вдоль лесной опушки…
Рукавицы на руках,
Шапка на макушке.

Раз-два!
Вот и поскользнулся…
Раз-два! Чуть не кувыркнулся…
Раз-два! Крепче на носках!

Захрустел, закрякал лёд,
Ветер дует справа.
Ёлки-волки! Полный ход —
Из пруда в канаву…

Раз-два! По скользкой дорожке…
Раз-два! Весёлые ножки…
Раз-два! Вперёд и вперёд…

Слон

– Слоник-слоник, настоящий слон живой, —
Отчего ты всё качаешь головой?

– Оттого что, потому что, потому, —
Всё я думаю, дружок, и не пойму…

Не пойму, что человек, такой малыш —
Посадил меня в клетушку, словно мышь…

Ох, как скучно головой весь день качать!
Лучше брёвна дали б, что ли, потаскать…

– Слоник-слоник, не качай ты головой!
Дай мне лучше поскорее хобот свой…

Я принёс тебе из бархата слона,
Он хоть маленький, но милый. Хочешь? На!

Можешь мыть его, и нянчить, и лизать…
Ты не будешь головой теперь качать?..

«Ну-ка, дети…»

Ну-ка, дети!
Кто храбрее всех на свете?
Так и знал – в ответ все хором
нараспев:
…!

Лев? Ха-ха…
Легко быть храбрым,
Если лапы шире швабры.
Нет, не лев, не слон…
Храбрее всех, малыш, —
…!

Сам вчера я видел чудо,
Как мышонок влез на блюдо
И у носа спящей кошки
Не спеша поел все крошки.
Что?

Зарубежная литература

Сказки

Два брата (Латышская сказка)

Жили по соседству два брата.

Один богатый, другой бедный. Один жадный, другой добрый. Один деньги считает, другой долги копит.

Вот как-то под вечер зашёл к богатому брату прохожий старичок, – голова белая, борода белая, весь трясётся.

– Дозволь, – говорит, – у тебя ночь переночевать?

– Ступай, ступай отсюда, – отвечает богатый. – Некуда мне тебя положить. Иди вон к соседу!

Постучался старичок к бедному брату.

– Не пустишь ли переночевать? – просит.

– Входи, дедушка, – говорит бедняк. – Места хватит. Садись-ка с нами за стол, – чем сами богаты, тем и тебя накормим.

Поел старичок и лёг спать. А утром стал он собираться в путь и говорит бедняку на прощанье:

– Спасибо тебе, сынок, что приютил старика. Рассчитаться мне с тобой нечем, деньгами я не богат, так я тебе добрым словом заплачу. Вот запомни: что с утра начнёшь, то к ночи и кончишь.

С тем и ушёл.

«Чудной старичок, – думает бедняк. – И слова какие-то чудные говорит. Да ведь и то верно: бедняк, точно белка в колесе, с утра до ночи вертится, а утро придёт – и опять на том же месте вер-тись».

Вздохнул он тяжело, а потом зовёт жену:

– Ну-ка, жена, давай снимать домотканину! Небось на заплаты хватит того, что наработали.

А у них ещё с вечера домотканое сукно осталось на стане неубранным.

Взялись они за дело. Снимают, снимают – что за чудо! – домотканине конца-краю нет, только успевай скатывать. Все лавки сукном завалили, все углы свитками заложили, а сукно всё идёт и идёт – как река течёт.

До самой ночи они сукно снимали. А наутро нагрузил бедняк телегу и поехал на базар. Продал там сукно – домой полную телегу денег привёз.

– Ступай, – говорит жене, – позови брата, рассчитаемся с ним за все его милости.

Богач пришёл да так и разинул рот от удивле-ния.

– Это с чего же ты разбогател? – спрашивает.

Бедняк и рассказал ему всё как было.

Богатый от зависти сам не свой стал. Прибежал, точно угорелый, домой, кричит жене:

– Вари! Жарь! Пеки!

А сам всё в окошко высовывается, не идёт ли старичок?

К вечеру и вправду увидел он прохожего старичка.

Выбежал богатый к нему навстречу, под руки в дом повёл, за стол усадил, потчует дорогого гостя:

– Ешь, милый человек! Пей на здоровье!

А потом и спать его уложил – пуховую перину ему дал, пуховым одеялом укрыл.

Всю ночь ворочался богач с боку на бок. «Ведь как угощал я этого проклятого старика! – думает. – Ничего для него не пожалел! Неужто не отблагодарит меня? Быть того не может!»

А старичок и вправду справедливый был.

Поутру собрался он уходить и говорит хозяину:

– Спасибо тебе, что накормил и приютил. Только вот не знаю, чем мне с тобой расплатиться. Денег у меня нет…

Богач так и позеленел от злости. «Неужто не скажет старик заветных слов?»

– А вот слово моё запомни, – говорит старичок, – пригодится оно тебе: что с утра начнёшь делать, то и будешь весь день делать.

Отлегло у богача от сердца. Выпроводил он старичка и бросился в клеть пересыпать деньги из сундучка. Тут вдруг зачесалась у него спина. Прислонился он к дверному косяку, чтобы почесаться, и – что за напасть! – не оторвать ему спину от косяка. Рвётся, дёргается справа-налево, слева-направо, а с места сдвинуться не может.

Стал он звать жену. Только и она не оторвала его от косяка.

Так до самой ночи и чесал спину богач – всю до крови содрал.

И винить некого, сам во всём виноват.

Златовласка (Чешская сказка)

В одной стране – забыл я её название – был королём злой и сварливый старик. Пришла однажды к нему во дворец торговка, принесла в корзине свежую рыбу и говорит:

– Купи у меня эту рыбу, король. Жалеть не будешь.

Король покосился на рыбу:

– Не видел я ещё такой рыбы в своём королевстве. Ядовитая, что ли?

– Что ты! – испугалась торговка. – Прикажи эту рыбу

зажарить, съешь её – и ты сразу начнёшь понимать разговор всех зверей, рыб и птиц. Даже самый малый жучок что-нибудь пропищит, а ты уже будешь знать, чего он хочет. Станешь самым умным королём на земле.

Королю это понравилось. Он купил у торговки рыбу и, хотя был скупой и жадный, даже не торговался и заплатил, сколько она запросила. «Вот теперь, – подумал король и потёр костлявые руки, – буду я самым умным на свете и завоюю весь мир. Это уж как пить дать! Поплачут теперь мои недруги».

Король позвал своего слугу, молодого Иржика, и приказал ему зажарить рыбу к обеду.

– Но только без плутовства! – сказал король Иржику. – Если ты съешь хоть один кусочек этой рыбы, отрублю голову.

Принёс Иржик рыбу на кухню, поглядел на неё и ещё больше удивился: никогда он не видел такой рыбы. Каждая рыбья чешуйка светилась разноцветным огнём, как радуга. Жалко было чистить и жарить такую рыбу. Но против королевского приказа не пойдёшь.

Жарит Иржик рыбу и никак не может понять, готова она или нет. Рыба не румянится, не покрывается корочкой, а становится прозрачной.

«Кто её знает, зажарилась она или нет, – подумал Иржик. – Надо попробовать».

Взял кусочек, пожевал и проглотил – как будто готова. Жуёт и слышит тоненькие писклявые голоса:

– И нам кусочек! И нам кусочек! Ж-ж-жареной рыбы!

Оглянулся Иржик. Никого нет. Только мухи летают над блюдом с рыбой.

– Ага! – сказал Иржик. – Теперь я кое-что начинаю понимать насчёт этой рыбы.

Взял он блюдо с рыбой и поставил на окно, на сквозной ветер, чтобы рыба остыла. А за окном идут через двор гуси и тихонько гогочут. Прислушался Иржик и слышит, как один гусь спрашивает:

– Куда пойдём? Куда пойдём?

А другой отвечает:

– К мельнику на ячменное поле! К мельнику на ячменное поле!

– Ага! – снова сказал Иржик и усмехнулся: – Теперь-то я понимаю, какая это рыба. Пожалуй, одного кусочка мне маловато.

Иржик съел второй кусок рыбы, потом красиво разложил рыбу на серебряном блюде, посыпал петрушкой и укропом и понёс блюдо королю.

С тех пор Иржик начал понимать всё, о чём говорили друг с

другом звери. Он узнал, что жизнь зверей не такая уж лёгкая, как думают люди, – есть у зверей и горе и заботы. С этого времени Иржик стал жалеть зверей и старался помочь каждой самой маленькой зверюшке, если она попала в беду.

После обеда король приказал подать двух верховых лошадей и поехал с Иржиком на прогулку.

Король ехал впереди, а Иржик – за ним следом. Горячий конь Иржика всё рвался вперёд. Иржик с трудом его сдерживал. Конь заржал, и Иржик тотчас понял его слова.

– Иго-го! – ржал конь. – Давай, брат, поскачем и перенесёмся одним махом через эту гору.

– Хорошо бы, – отвечал ему конь короля, – да на мне сидит этот старый дуралей. Ещё свалится и сломает шею. Нехорошо получится – как-никак, а всё-таки король.

– Ну и пусть ломает шею, – сказал конь Иржика. – Будешь тогда возить молодого короля, а не эту развалину.

Иржик тихонько засмеялся. Но король тоже понял разговор коней, оглянулся на Иржика, ткнул его коня сапогом в бок и спросил Иржика:

– Ты чего смеёшься, нахал?

– Вспомнил, твоя королевская милость, как сегодня на кухне два поварёнка таскали друг друга за вихры.

– Ты у меня смотри! – с угрозой промолвил король.

Он, конечно, не поверил Иржику, сердито повернул коня и поскакал к себе во дворец. Во дворце он приказал Иржику налить себе стакан вина.

– Но смотри, если не дольёшь или перельёшь – прикажу отрубить голову!

Иржик взял кувшин с вином и начал осторожно лить вино в тяжёлый стакан. А в это время влетели в открытое окно два воробья. Летают по комнате и на лету дерутся. Один воробей держит в клюве три золотых волоса, а другой старается их отнять.

– Отдай! Отдай! Они мои! Вор!

– Не дам! Я их подхватил, когда красавица расчёсывала золотые косы. Таких волос нет ни у кого на свете. Не дам! За кого она выйдет замуж, тот будет самым счастливым.

– Отдай! Бей вора!

Воробьи взъерошились и, схватившись, вылетели за окно. Но один золотой волос выпал из клюва, упал на каменный пол и зазвенел, как колокольчик. Иржик оглянулся и… пролил вино.

– Ага! – крикнул король. – Теперь прощайся с жизнью, Иржик!

Король обрадовался, что Иржик пролил вино и можно будет от него отделаться. Король один хотел быть самым умным на свете. Кто знает, может быть, этот молодой и весёлый слуга

ухитрился попробовать жареной рыбы. Тогда он будет опасным соперником для короля. Но тут королю пришла в голову удачная мысль. Он поднял с полу золотой волос, протянул его Иржику и сказал:

– Так и быть. Я тебя, пожалуй, помилую, если ты найдёшь девушку, что потеряла этот золотой волос, и приведёшь её мне в жёны. Бери этот волос и отправляйся. Ищи!

Что было делать Иржику? Взял он волос, снарядился в дорогу и выехал верхом из города. А куда ехать, не знает. Отпустил он поводья, и конь поплёлся по самой пустынной дороге. Она вся заросла травой. По ней, видно, давно не ездили. Дошла дорога до высокой тёмной пущи. Видит Иржик: на опушке пылает огонь, горит сухой куст. Пастухи бросили костёр, не залили, не затоптали, и от костра куст загорелся. А под кустом – муравейник. Муравьи бегают, суетятся, тащат из муравейника своё добро – муравьиные яйца, сухих жучков, гусениц и разные вкусные зёрна. Слышит Иржик, как кричат ему муравьи:

– Помоги, Иржик! Спаси! Горим!

Иржик соскочил с коня, срубил куст и погасил пламя. Муравьи окружили его кольцом, шевелят усиками, кланяются и благодарят:

– Спасибо тебе, Иржик. Век не забудем твоей доброты! А если понадобится тебе помощь, надейся на нас. Мы за добро отплатим.

Въехал Иржик в тёмную пущу. Слышит: жалобно кто-то пищит. Осмотрелся и видит: под высокой елью лежат два воронёнка – выпали из гнезда – и пищат:

– Помоги, Иржик! Покорми нас! Умираем с голоду! Мать с отцом улетели, а мы ещё летать не умеем.

Король нарочно дал Иржику старого, больного коня – настоящую клячу. Стоит конь, ноги у коня трясутся, и видно, что поездка эта для него – одно мучение.

Иржик соскочил с коня, подумал, заколол его и оставил воронятам конскую тушу – пусть кормятся.

– Кар-р, Ир-ржик! Кар-р! – весело закричали воронята. – Мы тебе за это поможем!

Дальше пошёл Иржик пешком. Долго шёл глухим лесом, потом лес начал шуметь всё сильнее, всё громче, ветер гнул уже вершины деревьев. А потом к шуму вершин прибавился плеск волн, и Иржик вышел к морю. На песчаном берегу спорили два рыбака. Одному попалась в сеть золотая рыба, а другой требовал эту рыбу себе.

– Моя сеть, – кричал один рыбак, – моя и рыба!

– А лодка чья? – отвечал другой рыбак. – Без моей лодки ты бы сеть не закинул!

Рыбаки кричали всё сильнее, потом засучили рукава, и дело кончилось бы дракой, если бы не вмешался Иржик.

– Бросьте шуметь! – сказал он рыбакам. – Продайте мне эту рыбу, а деньги поделите между собой. И дело с концом.

Иржик отдал рыбакам все деньги, что получил от короля на дорогу, взял золотую рыбу и бросил в море. Рыба вильнула хвостом, высунула голову из воды и говорит:

– Услуга за услугу. Когда понадобится тебе моя помощь, ты меня позови. Я приплыву.

Иржик сел на берегу отдохнуть. Рыбаки его спрашивают:

– Куда шагаешь, добрый человек?

– Да вот ищу невесту для своего старого короля. Приказал достать ему в жёны красавицу с золотыми волосами. А где её найдёшь?

Переглянулись рыбаки, сели на песок рядом с Иржиком.

– Ну что ж, – говорят, – ты нас помирил, а мы добро помним. Поможем тебе. Красавица с золотыми волосами на всём свете только одна. Это дочь нашего короля. Вон видишь на море остров, а на острове – хрустальный дворец? Вот там она и живёт, в этом дворце. Каждый день на рассвете она расчёсывает волосы. Тогда занимается над морем такая золотая заря, что мы просыпаемся от неё в своей хижине и знаем, что пора нам, значит, на ловлю. Мы перевезём тебя на остров. Только узнать красавицу почти невозможно.

– Это почему же? – спрашивает Иржик.

– А потому что у короля двенадцать дочерей, а золотоволосая одна. И все двенадцать королевен одеты одинаково. И у всех на головах одинаковые покрывала. Волос под ними не видно. Так что дело твоё, Иржик, трудное.

Перевезли рыбаки Иржика на остров. Иржик пошёл прямо в хрустальный дворец к королю, поклонился ему и рассказал, зачем попал на остров.

– Ладно! – сказал король. – Я человек неупрямый. Отдам дочь замуж за твоего короля. Но за это ты должен три дня выполнять мои задачи. Идёт?

– Идёт! – согласился Иржик.

– Поди поспи с дороги. Отдохни. Мои задачи замысловатые. Их с ходу не решишь.

Хорошо спалось Иржику! В окна дул всю ночь морской ветер, шумел прибой, а изредка даже залетали на постель мелкие брызги.

Встал утром Иржик, пришёл к королю. Король подумал и говорит:

– Вот тебе первая задача. Носила моя золотоволосая дочь на

шее ожерелье из жемчуга. Оборвалась нитка, и все жемчужины рассыпались в густой траве. Собери их все до единой.

Пошёл Иржик на лужайку, где королевна рассыпала жемчуг. Трава стоит по пояс и такая густая, что земли под ней не видно.

– Эх, – вздохнул Иржик, – были бы здесь друзья-муравьи, они бы мне помогли!

Вдруг слышит писк в траве, будто сотни каких-то крошечных людишек возятся около его ног:

– Мы тут! Мы тут! Чем тебе помочь, Иржик? Собрать жемчужины? Погоди, мы это мигом!

Забегали муравьи, замахали усиками и начали стаскивать к ногам Иржика жемчужину за жемчужиной. Иржик едва успевал нанизывать их на суровую нитку.

Собрал всё ожерелье и понёс королю. Король долго пересчитывал жемчужины, сбивался, считал снова.

– Всё верно! Ну хорошо, завтра дам тебе потруднее задачу.

Приходит Иржик к королю на следующий день. Король хитро посмотрел на него и сказал:

– Вот беда! Купалась моя золотоволосая дочь и уронила в море золотой перстень. Даю тебе день сроку на то, чтобы ты его достал.

Пошёл Иржик к морю, сел на берегу и чуть не заплакал. Море перед ним лежит тёплое, чистое и такое глубокое, что даже страшно подумать.

– Эх, – говорит Иржик, – была бы тут золотая рыба, она бы меня выручила!

Вдруг в море что-то блеснуло на тёмной воде, и из глубины всплыла золотая рыба.

– Не грусти! – сказала она Иржику. – Только что видела я щуку с золотым перстнем на плавнике. Будь спокоен, я его добуду!

Долго ждал Иржик, пока наконец не выплыла золотая рыба с золотым перстнем на плавнике.

Иржик осторожно снял перстень с плавника, чтобы рыбе не было больно, поблагодарил её и пошёл во дворец.

– Ну что ж, – сказал король, – ловкий ты, видно, человек. Завтра приходи за последней задачей.

А последняя задача была самая трудная: принести королю живой и мёртвой воды. Где её взять? Пошёл Иржик куда глаза глядят, дошёл до великой пущи, остановился и думает:

«Были бы здесь мои воронята, они бы…»

Не успел он додумать, слышит над головой свист крыльев, карканье и видит: летят к нему знакомые воронята.

Рассказал им Иржик своё горе.

Воронята улетели, долго их не было, а потом снова зашумели крыльями и притащили Иржику в клювах две баклаги[29] с живой и мёртвой водой.

– Карр, карр, берри и будь ррад! Карр!

Взял Иржик баклаги и пошёл к хрустальному дворцу. Вышел на опушку и остановился: между двух деревьев чёрный паук сплёл паутину, поймал в неё муху, убил и сидит сосёт мушиную кровь. Брызнул Иржик на паука мёртвой водой. Паук тут же умер – сложил лапки и упал на землю. Тогда Иржик побрызгал муху живой водой. Она ожила, забила крылышками, зажужжала, разорвала паутину и улетела. А улетая, сказала Иржику:

– На своё счастье ты меня оживил. Я тебе помогу узнать Златовласку.

Пришёл Иржик к королю с живой и мёртвой водой. Король даже ахнул, долго не верил, но попробовал мёртвую воду на старой мыши, что бежала через дворцовую комнату, а живую воду – на засохшем цветке в саду и обрадовался. Поверил. Взял Иржика за руку, повёл в белый зал с золотым потолком. Посреди зала стоял круглый хрустальный стол, а за ним на хрустальных креслах сидели двенадцать красавиц, до того похожих одна на другую, что Иржик только махнул рукой и опустил глаза – как тут узнать, которая из них Златовласка! На всех одинаковые длинные платья, а на головах – одинаковые белые покрывала. Из-под них не видно ни волоска.

– Ну, выбирай, – говорит король. – Угадаешь – твоё счастье! А нет – уйдёшь отсюда один, как пришёл.

Иржик поднял глаза и вдруг слышит – жужжит что-то у самого уха.

– Жи-и-и, иди вокруг стола. Я тебе подскаж-жу.

Взглянул Иржик: летает над ним маленькая муха. Иржик медленно пошёл вокруг стола, а королевны сидят, потупились. И у всех одинаково щёки зарделись. А муха жужжит-жужжит:

– Не та! Не та! Не та! А вот эта – она, золотоволосая!

Иржик остановился, прикинулся, будто ещё сомневается, потом сказал:

– Вот золотоволосая королевна!

– Твоё счастье! – крикнул король.

Королевна быстро вышла из-за стола, сбросила белое покрывало, и золотые волосы рассыпались у неё по плечам. И сразу же весь зал заиграл таким блеском от этих волос, что казалось, солнце отдало весь свой свет волосам королевны.

Королевна взглянула в упор на Иржика и отвела глаза: такого красивого и статного юноши она не видела ни разу. Сердце у королевны тяжело билось, но отцовское слово – закон. Придётся

ей идти замуж за старого злого короля!

Повёз Иржик невесту своему господину. Всю дорогу берёг её, следил, чтобы не спотыкался её конь, чтобы холодная капля дождя не упала на её плечи. Грустное это было возвращение. Потому что и Иржик полюбил золотоволосую королевну, но не мог ей об этом сказать.

Старый сварливый король захихикал от радости, когда увидел красавицу, и приказал быстро готовить свадьбу. А Иржику сказал:

– Хотел я тебя повесить на сухом суку за ослушание, чтобы труп твой склевали вороны. Но за то, что ты нашёл мне невесту, объявляю тебе королевскую милость. Вешать я тебя не буду, а прикажу отрубить голову и похоронить с честью.

Наутро отрубили Иржику голову на плахе. Зарыдала золотоволосая красавица и попросила короля отдать ей безглавое тело и голову Иржика. Король насупился, но не решился отказать невесте.

Златовласка приложила голову к телу, побрызгала живой водой – голова приросла, даже следа не осталось. Побрызгала она Иржика второй раз – и он вскочил живой, молодой и ещё более красивый, чем был до казни. И спросил Златовласку:

– Почему я так крепко уснул?

– Ты бы уснул навсегда, – ответила ему Златовласка, – если бы я не спасла тебя, милый.

Король увидел Иржика и остолбенел: как это он ожил, да ещё стал таким красивым! Король был хитрый старик и тут же решил извлечь из этого случая выгоду. Позвал палача и приказал:

– Отруби мне голову! А потом пусть Златовласка побрызжет на меня чудесной водой. И я оживу молодым и красивым.

Палач с охотой отрубил голову старому королю. А воскресить его не удалось. Зря только вылили на него всю живую воду. Должно быть, было в короле столько злости, что никакой живой водой не поможешь. Похоронили короля без слёз, под барабанный бой. А так как стране нужен был умный и добрый правитель, то и выбрал народ правителем Иржика, – недаром он был самым мудрым человеком на свете. А Златовласка стала женой Иржика, и они прожили долгую и счастливую жизнь.

Так и окончилась эта сказка о том, как звери отплатили добром за добро и как король потерял голову.

Черепаха и скорпион (Узбекская сказка)

Жила на свете черепаха. Это была старая, мудрая черепаха. Много она на своём веку видала, а чего не видала – про то

слыхала.

Однажды ползла черепаха по дороге.

Вдруг из-за камня высунулся скорпион. Увидел черепаху и говорит:

– Эй, подруга! Ты куда? И я с тобой! В пути с товарищем всегда веселее.

Черепаха подумала: «Уж если скорпион привязался – от него не отделаться. А в пути и вправду вдвоём лучше».

– Что ж, – говорит черепаха, – идём! Будешь моим товарищем!

Вот и отправились они вместе – черепаха и скорпион.

Ползли, ползли и добрались до берега реки. Черепахе вода не помеха. Вошла она в воду и поплыла – то нырнёт с головой, то всплывёт на поверхность.

На середине реки оглянулась черепаха – а спутника её нет.

Посмотрела она на берег и видит: скорпион закинул хвост на спину и мечется по берегу туда-сюда, а войти в воду не смеет.

– Эй, друг! – крикнула ему черепаха. – Почему ты не плывёшь за мной?

Тут скорпион и признался:

– Ах, подруга, ведь плавать-то я не умею! Черепаха подумала: «Что там ни говори, а он был моим дорожным товарищем. А товарища бросать не годится. Я должна помочь ему переправиться через реку».

И черепаха повернула назад.

Она гребла лапами, как вёслами, и быстро подплыла к берегу.

– Садись ко мне на спину, – сказала она скорпиону. – Но только смотри сиди спокойно, не шевелись, а не то тебе же будет хуже!

– Ну что ты! Разве я себе враг! – сказал скорпион и взобрался на спину черепахи.

А черепаха снова вошла в воду и поплыла.

Проплыла немного, и вдруг стало её качать из стороны в сторону, будто ветер поднялся и волну нагоняет. Только ветра никакого не было, – это скорпион у неё на спине взад-вперёд ползает.

– Эй, приятель! – окликнула его черепаха. – Ты что на месте не сидишь? Так и в воду свалиться можешь!

– Правду говоришь ты, – сказал скорпион и тяжело вздохнул. – Я и хотел бы сидеть на месте, да вот ведь беда – меня так и тянет воткнуть в тебя жало. Такая уж у нас, скорпионов, привычка. На чём сидишь, то и ужалишь.

– Ну, твоё жало для моего панциря всё равно что маленькая

колючка для каменной стены, – сказала черепаха и поплыла дальше.

Ещё немного проплыла, и опять скорпион заёрзал на её спине.

– Послушай, – сказала черепаха, – мы ведь с тобой товарищи, а разве это дело – втыкать жало в спину своего товарища?

– Твои слова справедливы, – сказал скорпион, – но я ничего не могу с собой поделать. Ведь я скорпион, а скорпиону всё равно, кого ужалить – товарища или врага. Не сердись на меня. Так уж я устроен! – И он снова принялся долбить своим жалом спину черепахи.

– Да разве я сержусь, – сказала черепаха. – У каждого свои привычки! Я, например, очень люблю нырять и тоже ничего не могу с собой поделать, – меня словно кто тянет вниз, на самое дно. Уж ты не сердись на меня!

С этими словами черепаха нырнула, а скорпион захлебнулся и утонул.

Ганс Христиан Андерсон (1805–1875)

Ганс Христиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в Оденсе на острове Фюн. Отец Андерсена был бедным башмачником, мать была прачкой из бедной семьи, она была похоронена на кладбище для бедных. С детства мальчик рос мечтателем и сочинителем, часто устраивал домашние спектакли. Отец Андерсена очень рано умер, и мальчику пришлось работать, чтобы помогать матери кормить семью. Он был подмастерьем у ткача, затем у портного, потом Андерсен работал на сигаретной фабрике. В раннем детстве Ганс Христиан был замкнутым ребёнком, любимой игрой которого был кукольный театр.

В возрасте 14 лет Андерсен поехал в Копенгаген. Мать надеялась, что он побудет там немного и вернётся. Сначала Андерсен выступает на вторых ролях в театре. Когда Андерсен написал свою первую книгу и она была напечатана, её никто не покупал, она пошла на обёртку. Однако он не терял надежды. Добрые люди помогли Андерсену учиться, видя его желание. Король Дании Фредерик VI разрешил ему учиться в школе в городке Слагельсе, а затем в другой школе в Эльсиноре за счёт казны. Это означало, что больше не нужно будет думать о пропитании, о том, как прожить дальше. Ученики в школе были на шесть лет младше Андерсена. Но одолеть грамоту Андерсен так и не смог – всю жизнь он делал на письме множество ошибок.

В 1833 году Андерсен получил от короля денежное пособие, позволившее ему выехать в первое в жизни заграничное путешествие. Андерсен много пишет, в 1835 году печатаются его «Сказки». Слава его «Сказок» росла. К этому моменту он был уже знаменитым писателем. Андерсен не любил свои сказки, не считал их серьёзными произведениями.

Ель

В лесу стояла чудесная ёлочка. Место у неё было хорошее, воздуха и света вдоволь, кругом росли подруги постарше – и ели и сосны. Ёлочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о тёплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали в лесу землянику и малину; набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под ёлочку отдохнуть и всегда говорили:

– Вот славная ёлочка! Хорошенькая, маленькая!

Таких речей деревцо и слушать не хотело.

Прошёл год – и у ёлочки прибавилось одно коленце, прошёл ещё год – прибавилось ещё одно: так по числу коленцев и можно узнать, сколько лет ели.

– Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! – вздыхала ёлочка. – Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в моих ветвях гнёзда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробегал заяц и иногда даже перепрыгивал через ёлочку – вот обида! Но прошло ещё две зимы, и к третьей деревцо подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом – что может быть лучше этого!» – думалось ёлочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Ёлочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни[30] и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревцо спросило у них:

– Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?

Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал:

– Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными, высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они!

– Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

– Ну, это долго рассказывать! – ответил аист и улетел.

– Радуйся своей юности! – говорили ёлочке солнечные лучи. – Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам!

И ветер целовал дерево, роса проливала над ним слёзы, но ель ничего этого не ценила.

Около Рождества срубили несколько совсем молоденьких ёлок; некоторые из них были даже меньше нашей ёлочки, которой

так хотелось скорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

– Куда? – спросила ель. – Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?

– Мы знаем! Мы знаем! – прочирикали воробьи. – Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их ставят посреди тёплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами, золочёными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей!

– А потом?.. – спросила ель, дрожа всеми ветвями. – А потом?.. Что было с ними потом?

– А больше мы ничего не видали! Но это было бесподобно!

– Может быть, и я пойду такою же блестящею дорогой! – радовалась ель. – Это получше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло Рождество! Теперь и я стала такою же высокою и раскидистою, как те, что были срублены прошлый год! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла разубранною всеми этими прелестями, в тёплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет ещё лучше, иначе зачем бы и наряжать меня!.. Только что именно будет? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

– Радуйся нам! – сказали ей воздух и солнечный свет. – Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а всё росла да росла. И зиму и лето стояла она в своём зелёном уборе, и все, кто видел её, говорили: «Вот чудесное деревцо!» Подошло наконец и Рождество, и ёлочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла, – она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг – елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревцо пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

– Чудесная ёлка! Такую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли ёлку и внесли её в огромную, великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шёлком диваны и большие столы, заваленные альбомами,

книжками и игрушками на несколько сот талеров[31] – так по крайней мере говорили дети. Ёлку посадили в большую кадку с песком, обвернули кадку зелёною материей и поставили на пёстрый ковёр. Как трепетала ёлочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать её. Вот на ветвях повисли набитые сластями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, выросли золочёные яблоки и орехи и закачались куклы – ни дать ни взять живые человечки; таких ёлка ещё не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек – красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели – большую звезду из сусального золота. Ну просто глаза разбегались, глядя на всё это великолепие!

– Как заблестит, засияет ёлка вечером, когда зажгутся свечки! – сказали все.

«Ах! – подумала ёлка. – Хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я врасту в эту кадку и буду стоять тут такою нарядной и зиму и лето?»

Да, много она знала!.. От напряжённого ожидания у неё даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.

Но вот зажглись свечи. Что за блеск, что за роскошь! Ёлка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зелёные иглы, и ёлочка пребольно обожглась.

– Ай-ай! – закричали барышни и поспешно затушили огонь.

Больше ёлка дрожать не смела. И напугалась же она! Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял её… Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они намеревались свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг ёлки, и мало-помалу все подарки с неё были сорваны.

«Что же это они делают? – думала ёлка. – Что это значит?»

Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви затрещали! Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили ёлку.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на ёлку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика.

– Сказку! Сказку! – закричали дети и подтащили к ёлке маленького, толстенького человечка.

Он уселся под деревом и сказал:

– Вот мы и в лесу! Да и ёлка, кстати, послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, всё-таки прославился и добыл себе принцессу?

– Про Иведе-Аведе! – закричали одни.

– Про Клумпе-Думпе! – кричали другие. Поднялся крик и шум; одна ёлка стояла смирно и думала:

«А мне разве нечего больше делать?»

Она уж сделала своё дело!

И толстенький человек рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, всё-таки прославился и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали:

– Ещё, ещё! – Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла ёлка, – лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и всё же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» – думала ёлка; она вполне верила всему, что сейчас слышала, – рассказывал ведь такой почтенный человек. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придётся свалиться с лестницы, а потом и я стану принцессой!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: её опять украсят свечками и игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу! – думала она. – Я хочу как следует насладиться своим великолепием! И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иведе-Аведе». И деревцо смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Поутру явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать!» – подумала ёлка, но они вытащили её из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый тёмный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? – думала ёлка. – Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и всё думала, думала… Времени на это было довольно: проходили дни и ночи – никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нём, казалось, забыли.

«На дворе зима! – думала ёлка. – Земля затвердела и покрылась снегом; нельзя, значит, снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно

придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело! Кругом снег, а по снегу зайчики скачут! Хорошо было… Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

– Пи-пи! – пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним ещё один, маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями.

– Ужасно холодно здесь! – сказали мышата. – А то совсем бы хорошо было! Правда, старая ёлка?

– Я вовсе не старая! – отвечала ель. – Есть много деревьев постарше меня!

– Откуда ты и что ты знаешь? – спросили мышата; они были ужасно любопытны. – Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдёшь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

– Нет, такого места я не знаю! – сказало дерево. – Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички!

И она рассказала им о своей юности; мышата никогда не слыхали ничего подобного, выслушали рассказ ёлки и потом сказали:

– Как же ты много видела! Как ты была счастлива!

– Счастлива? – сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. – Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечками.

– О! – сказали мышата. – Как же ты была счастлива, старая ёлка!

– Я совсем ещё не стара! – возразила ёлка. – Я взята из лесу только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

– Как ты чудесно рассказываешь! – сказали мышата и на следующую ночь привели с собой ещё четырёх, которым тоже надо было послушать рассказы ёлки. А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала своё прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

– Но они же вернутся! Вернутся! И Клумпе-Думпе упал с лестницы, а всё-таки ему досталась принцесса! Может быть, и я сделаюсь принцессой!

Тут дерево вспомнило хорошенькую берёзку, что росла в лесной чаще неподалёку от него, – она казалась ему настоящей

принцессой.

– Кто это Клумпе-Думпе? – спросили мышата, и ель рассказала им всю сказку; она запомнила её слово в слово. Мышата от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось ещё несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат, но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.

– Вы только одну эту историю и знаете? – спросили крысы.

– Только! – отвечала ель. – Я слышала её в счастливейший вечер моей жизни; тогда-то я, впрочем, ещё не сознавала этого!

– В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки? Про кладовую?

– Нет! – ответило дерево.

– Так счастливо оставаться! – сказали крысы и ушли.

Мышата тоже разбежались, и ель вздохнула:

– А ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и этому конец… Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось! Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала её довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок её по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнётся новая жизнь!» – подумала ёлка.

Вот на неё повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца – ель очутилась на дворе. Всё это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для неё, что она не успела и поглядеть на самоё себя. Двор примыкал к саду; в саду всё зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперёд и щебетали:

– Квир-вир-вит! Мой муж вернулся!

Но это не относилось к ели.

– Теперь я заживу! – радовалась она и расправляла свои ветви. Ах, как они поблёкли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, в крапиве и сорной траве; на верхушке его всё ещё сияла золотая звезда.

Во дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг разубранной ёлки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал её.

– Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой ёлке! – крикнул он и наступил на её ветви; ветви захрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самоё себя и пожелала вернуться в свой тёмный угол на чердак. Вспомнились ей и молодость, и лес, и весёлый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе…

– Всё прошло, прошло! – сказала бедная ёлка. – И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь… всё прошло, прошло!

Пришёл слуга и изрубил ёлку в куски, – вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнём и встречали каждый выстрел весёлым «пиф! паф!». А ель, испуская тяжёлые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звёздные зимние ночи в лесу, весёлый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!.. Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли во дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала ёлку в счастливейший вечер её жизни. Теперь он прошёл, канул в вечность, ёлке тоже пришёл конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Всё на свете имеет свой конец!

Джозеф Редьярд Киплинг (1865–1936)

Редьярд Киплинг родился в Бомбее в семье профессора местной школы искусств Джона Локвуда Киплинга и Алисы Киплинг. Имя Редьярд он получил, как полагают, в честь английского озера Редьярд, где познакомились родители. Ранние годы были очень счастливыми для будущего писателя. Но в возрасте 5 лет вместе со своей сестрой он отправляется на учёбу в Англию. В течение 6 лет он жил в частном пансионе, хозяйка которого плохо обращалась с ним, наказывала. Такое отношение так сильно повлияло на него, что до конца жизни он страдал от бессонницы.

В 12 лет родители устраивают его в частное училище, чтобы он смог потом поступить в престижную военную академию. Директором училища был друг отца Редьярда. Именно он стал поощрять любовь мальчика к литературе. Плохое зрение не позволило Киплингу избрать военную карьеру, а дипломов для поступления в другие университеты училище не давало. Под впечатлением от рассказов, написанных в училище, отец находит ему работу журналиста в редакции индийской газеты.

В октябре 1882 года Киплинг возвращается в Индию и принимается за работу журналиста. В свободное время он пишет короткие рассказы и стихи, которые затем публикуются газетой наряду с репортажами.

В 1894–1895 годах выходят знаменитые «Книга джунглей» и «Вторая книга джунглей».

После путешествия по Африке он начинает подбирать материал для новой детской книги, которая выходит в 1902 году под названием «Сказки просто так».

Во время Первой мировой войны Киплинг вместе с женой работали в Красном Кресте. После войны он становится членом Комиссии по военным захоронениям. Во время одной поездки в 1922 году по Франции он знакомится с английским королём Георгом V, с которым потом завязывается большая дружба.

В 1907 году становится лауреатом Нобелевской премии.

Отчего у верблюда горб

Вот ещё одна сказка, и в ней я хочу рассказать, откуда взялся на спине у Верблюда такой большой горб.

В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить Человеку. Но в Ужасно-Унылой Пустыне жил Ужасно-Унылый

Верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жёсткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел – такой бессовестный бездельник и лентяй! И что бы ни говорили ему, он на всё отвечал:

– Гррб!

Только «Гррб» – и больше ничего. Вот однажды, в понедельник утром, пришёл к нему Конь.

На спине у Коня было седло, в зубах уздечка.

– Верблюд, о Верблюд! – сказал он. – Ступай к Человеку и начни бегать рысью, как мы.

– Гррб! – ответил Верблюд, а Конь пошёл к Человеку и рассказал ему всё.

Вскоре после этого к Верблюду пришёл Пёс. В зубах у него была палка. Он пришёл и сказал:

– Верблюд, о Верблюд! Иди к Человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы.

– Гррб! – ответил Верблюд, а Пёс пошёл к Человеку и рассказал ему всё.

Вскоре после этого пришёл к Верблюду Бык. На шее у Быка было ярмо. Он сказал:

– Верблюд, о Верблюд! Иди к Человеку и паши землю, как мы.

– Гррб! – ответил Верблюд, а Бык пошёл к Человеку и рассказал ему всё.

Вечером Человек позвал Коня, Пса и Быка и сказал:

– Конь, Пёс и Бык, мне очень вас жалко (ведь мир был совсем ещё новенький!), но зверь, который кричит «Гррб» в той Пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришёл ко мне. Пусть себе живёт в своей Пустыне, я не трону его, но вам придётся работать вдвойне – и за себя и за него.

Тогда Конь, Пёс и Бык очень рассердились (ведь мир был ещё очень новый!). Они отправились к самому краю Пустыни и стали громко обсуждать, что им делать, и лаяли, и ржали, и мычали.

К ним подошёл Верблюд – бессовестный бездельник и лентяй! – и, лениво пережёвывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «Гррб» и удалился.

Мимо по дороге мчался в туче пыли Джинн, Владыка Всех Пустынь. (Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи.) Он остановился поболтать с Конём, Псом и Быком.

– Владыка Всех Пустынь! – сказал Конь. – Кто имеет право бездельничать, если мир такой новый и в нём ещё так много работы?

– Никто, – ответил Джинн.

– А вот, – сказал Конь, – в твоей Ужасно-Унылой Пустыне живёт Ужасно-Унылый Зверь, с длинной шеей, с длинными

ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу. Не желает бегать рысью – ни за что!

– Фью! – свистнул Джинн. – Да это мой Верблюд, клянусь золотом Аравийской земли! Что же он говорит?

– Он говорит одно слово: «Гррб», – сказал Пёс. – «Гррб» – и больше ничего. И не желает помогать Человеку охотиться.

– А что ещё он говорит? – спросил Джинн.

– Больше ничего, только «Гррб», и не желает пахать, – ответил Бык.

– Отлично! – воскликнул Джинн. – Пожалуйста, подождите минутку, я сейчас покажу ему «Гррб».

Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в Пустыню. Там он нашёл Верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже – бессовестный лентяй и бездельник.

– Мой лукавый длинноногий друг, – сказал Джинн, – я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом-новёхоньком мире. Что это значит?

– Гррб! – ответил Верблюд.

Джинн сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать, а Верблюд стоял и как ни в чём не бывало любовался своим отражением в луже.

– Конь, Бык и Пёс работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, оттого, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник, – сказал Джинн.

И он опять опёрся рукой о подбородок и продолжал колдовать.

– Гррб! – повторил Верблюд.

– И как тебе не надоест это слово? Который раз ты повторяешь его? Бессовестный лентяй и бездельник, я хочу, чтобы ты начал работать!

– Гррб! – повторил Верблюд.

И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть, и пухла, и пухла, и у него вздулся огромнейший твёрдый горб.

– Полюбуйся! – сказал Джинн. – Это тот самый «Гррб», о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя оттого, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника, сегодня четверг, а ты до сих пор ещё не принялся за работу. Но теперь ты начнёшь работать!

– Как же я буду работать, если у меня огромнейший Гррб? – спросил Верблюд.

– А это тебе в наказание! – ответил Джинн. – За то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать три дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный Гррб.

Жил же ты три дня одним только «Гррб». После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из Пустыни, ступай к Коню, Псу и Быку и смотри, веди себя хорошо.

И пошёл Верблюд со своим горбом к Коню, Псу и Быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб (мы не говорим уже «Гррб», мы говорим «горб», чтобы не обидеть Верблюда), и до сих пор он не может наверстать те три дня, которые он прогулял вначале, когда земля была новая, и до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести.

Мифы Древней Греции

Олимп

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окружённый сонмом богов. Здесь и супруга его Гера, и златокудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой, и златая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина, и много других богов. Три прекрасные оры[32] охраняют вход на высокий Олимп и подымают закрывающее врата густое облако, когда боги нисходят на землю или возносятся в светлые чертоги Зевса. Высоко над Олимпом раскинулось голубое бездонное небо, и льётся с него золотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает в царстве Зевса; вечно там светлое, радостное лето. А ниже клубятся облака, порой закрывают они далёкую землю. Там, на земле, весну и лето сменяют осень и зима, радость и веселье сменяются несчастьем и горем. Правда, и боги знают печали, но они скоро проходят, и снова водворяется радость на Олимпе.

Пируют боги в своих золотых чертогах, построенных сыном Зевса Гефестом. Царь Зевс сидит на высоком золотом троне. Величием и гордо-спокойным сознанием власти и могущества дышит мужественное прекрасное лицо Зевса. У трона его богиня мира Эйрена и постоянная спутница Зевса крылатая богиня победы Ника. Вот входит величественная богиня Гера, жена Зевса. Зевс чтит свою жену; почётом окружают Геру, покровительницу брака, все боги Олимпа. Когда, блистая своей красотой, в пышном наряде, Гера входит в пиршественный зал, все боги встают и склоняются перед женой громовержца. А она идёт к золотому трону и садится рядом с Зевсом. Около трона Геры стоит её посланница, богиня радуги, легкокрылая Ирида, всегда готовая быстро нестись на радужных крыльях в самые дальние края земли исполнять повеления Геры.

Пируют боги. Дочь Зевса, юная Геба, и сын царя Трои Ганимед, любимец Зевса, получивший от него бессмертие, подносят им амброзию и нектар – пищу и напиток богов. Прекрасные хариты и музы[33] услаждают их пением и танцами. Взявшись за руки, водят они хороводы, а боги любуются их лёгкими движениями и дивной, вечно юной красотой. Веселее становится пир олимпийцев. На этих пирах решают боги все дела, на них определяют они судьбу мира и людей.

С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и законы. В руках Зевса судьба людей: счастье и несчастье, добро и зло, жизнь и смерть. Два больших сосуда стоят

у ворот дворца Зевса. В одном сосуде дары добра, в другом – зла. Зевс черпает из сосудов добро и зло и посылает людям. Горе тому человеку, которому громовержец черпает дары только из сосуда со злом. Горе и тому, кто нарушает установленный Зевсом порядок на земле и не соблюдает его законов. Грозно сдвинет сын Крона свои густые брови, чёрные тучи заволокут небо. Разгневается великий Зевс, и страшно поднимутся волосы на голове его, глаза загорятся нестерпимым блеском; взмахнёт он своей десницей – удары грома раскатятся по всему небу, сверкнёт пламенная молния и сотрясётся высокий Олимп.

У трона Зевса стоит хранящая законы богиня Фемида. Она созывает, по повелению громовержца, собрания богов на Олимпе и народные собрания на земле, наблюдает, чтобы не нарушались порядок и закон. На Олимпе и дочь Зевса богиня Дикэ, наблюдающая за правосудием. Строго карает Зевс неправедных судей, когда Дикэ доносит ему, что не соблюдают они законов, данных Зевсом. Богиня Дикэ – защитница правды и враг обмана.

Но хотя посылает людям счастье и несчастье Зевс, всё же судьбу людей определяют неумолимые богини судьбы – мойры, живущие на Олимпе. Судьба самого Зевса в их руках. Властвует рок над смертными и над богами. Никому не уйти от велений неумолимого рока. Нет такой силы, такой власти, которая могла бы изменить хоть что-нибудь в том, что предназначено богам и смертным. Одни мойры знают веления рока. Мойра Клото прядёт жизненную нить человека, определяя срок его жизни. Оборвётся нить – и кончится жизнь. Мойра Лахесис вынимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Никто не в силах изменить определённой мойрами судьбы, так как третья мойра, Атропос, всё, что назначили в жизни человеку её сестры, заносит в длинный свиток, а что занесено в свиток судьбы, то неизбежно. Неумолимы великие, суровые мойры.

Есть и ещё на Олимпе богиня судьбы – это Тюхе, богиня счастья и благоденствия. Из рога изобилия, рога божественной козы Амалфеи, молоком которой был вскормлен Зевс, сыплет она дары людям, и счастлив тот человек, который встретит на своём жизненном пути богиню счастья Тюхе. Но как редко это бывает и как несчастлив тот человек, от которого отвернётся богиня Тюхе, только что дававшая ему свои дары!

Так царит окружённый сонмом богов на Олимпе Зевс, охраняя порядок во всём мире.

Царство мрачного Аида

Глубоко под землёй царит неумолимый, мрачный брат Зевса

Аид. Никогда не проникают туда лучи яркого солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в печальное царство Аида. Мрачные реки текут в нём. Там протекает всё леденящая священная река Стикс, водами которой клянутся сами боги.

Катят там свои волны Коцит и Ахеронт; души умерших оглашают стенаниями, полными печали, их мрачные берега. В подземном царстве струятся и дающие забвение всего земного воды реки Леты[34]. По мрачным полям царства Аида, заросшим бледными цветами асфодела[35], носятся бесплотные лёгкие тени умерших. Они сетуют на свою безрадостную жизнь без света и без желаний. Тихо раздаются их стоны, едва уловимые, подобные шелесту увядших листьев, гонимых осенним ветром. Нет никому возврата из этого царства печали. Трёхглавый пёс Кербер, на шее которого движутся с грозным шипением змеи, сторожит выход. Суровый старый Харон, перевозчик душ умерших, не повезёт через мрачные воды Ахеронта ни одну душу обратно, туда, где светит ярко солнце жизни.

Властитель этого царства Аид сидит на золотом троне со своей женой Персефоной. Ему служат неумолимые богини мщения эринии. Грозные, с бичами и змеями, преследуют они преступника, не дают ему ни минуты покоя и терзают его угрызениями совести; нигде нельзя скрыться от них, всюду находят они свою жертву. У трона Аида сидят судьи царства умерших – Минос и Радамант. Здесь же, у трона, бог смерти Танат с мечом в руках, в чёрном плаще, с громадными чёрными крыльями. Могильным холодом веют эти крылья, когда прилетает Танат к ложу умирающего, чтобы срезать своим мечом прядь волос с его головы и исторгнуть душу. Рядом с Танатом и мрачные Керы. На крыльях носятся они, неистовые, по полю битвы. Керы ликуют, видя, как один за другим падают сражённые воины; своими кроваво-красными губами припадают они к ранам, жадно пьют горячую кровь сражённых и вырывают из тела их души.

Здесь же, у трона Аида, и прекрасный юный бог сна Гипнос. Он неслышно носится на своих крыльях над землёй с головками мака в руках и льёт из рога снотворный напиток. Нежно касается Гипнос своим чудесным жезлом глаз людей, тихо смыкает веки и погружает смертных в сладкий сон. Могуч бог Гипнос, не могут противиться ему ни смертные, ни боги, ни даже сам громовержец Зевс: и ему Гипнос смыкает грозные очи и погружает его в глубокий сон.

Носятся в мрачном царстве Аида и боги сновидений. Есть среди них боги, дающие вещие и радостные сновидения, но есть боги и страшных, гнетущих сновидений, пугающих и мучающих

людей. Есть боги лживых снов: они вводят человека в заблуждение и часто ведут его к гибели.

Царство Аида полно мрака и ужасов. Там бродит во тьме ужасное привидение Эмпуса с ослиными ногами; заманив в ночной тьме хитростью людей в уединённое место, оно выпивает всю кровь и пожирает их ещё трепещущее тело. Там бродит и чудовищная Ламия; она ночью пробирается в спальню счастливых матерей и крадёт у них детей, чтобы напиться их крови. Над всеми привидениями и чудовищами властвует великая богиня Геката. Три тела и три головы у неё. Безлунной ночью блуждает она в глубокой тьме по дорогам и у могил со всей своей ужасной свитой, окружённая стигийскими собаками. Она посылает ужасы и тяжкие сны на землю и губит людей. Гекату призывают как помощницу в колдовстве, но она же и единственная помощница против колдовства для тех, которые чтят её и приносят ей на распутьях, где расходятся три дороги, в жертву собак.

Ужасно царство Аида, и ненавистно оно людям.

notes

Примечания

1

Зенки – (устар.) глаза.

2

Кросна – ткацкий станок.

3

Кушачок – уменьш. – ласк. от «кушак» – широкий пояс из ткани.

4

Вертеп – (устар.) пещера, потаённое место.

5

Чеботарь – сапожник.

6

Чара – древнерусский металлический сосуд для питья крепких напитков.

7

Тур – вымерший вид животных рода настоящих быков.

8

Гри́дня – приёмный покой в княжеских хоромах.

9

Тороки – ремни у задней луки седла для привязывания чего-либо.

10

Яхонт – старинное название рубина и сапфира.

11

Живот – зд. жизнь.

12

Перемёт – рыболовная сеть с крупными ячейками и крючками, которая устанавливается на кольях поперёк течения.

13

Трепало – зубчатая дощечка, которой выколачивают, треплют лён.

14

Кострика – отбросы льна после выколачивания.

15

Кипень – белая от кипения пена.

16

Заутреня – ранняя (на рассвете) церковная служба.

17

Колотушка – устройство из дощечек для постукивания во время обхода сторожа.

18

Шпандырь – у сапожников ремень, которым они прикрепляют свою работу к ноге.

19

Набить оскомину – получить вяжущее ощущение во рту после употребления в пищу чего-нибудь кислого или терпкого.

20

Перст – (устар.) палец.

21

Полати – лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью.

22

Зефир – (поэт. устар.) приятный и мягкий ветер.

23

Бурмитское зерно – (стар.) крупная жемчужина.

24

Бондарь – мастер, изготавливающий бочки.

25

Шорник – мастер, который делает ременную упряжь, конскую упряжную сбрую.

26

Кряж – толстый короткий обрубок бревна из близкой к корню части дерева.

27

Ветряк – ветряная мельница.

28

Ситный – ситный хлеб.

29

Баклага – дорожный сосуд для воды (типа фляги) с узким коротким горлом и ушками для продевания ремня.

30

Дровни – сани без кузова для перевозки дров, грузов.

31

Талер – немецкая серебряная монета.

32

Оры (горы) – дочери Зевса и Фемиды, богини времени года Эвномия, Дике и Эфрена.

33

Хариты – дочери Зевса и Океаниды Эвриномы. Богини красоты и изящества. Музы – девять дочерей Зевса и Мнемосины. Богини поэзии, искусства и наук.

Отсюда произошло выражение «кануть в Лету», что означает «быть навсегда забытым, навек исчезнуть».

35

Асфодел – дикий тюльпан.